

ГЮЗЕЛЬ АМАЛЬРИК

# ВОСПОМИНАНИЯ О МОЕМ ДЕТСТВЕ

АМСТЕРДАМ · ИЗД. ФОНД ИМЕНИ ГЕРЦЕНА.

# ВОСПОМИНАНИЯ О МОЕМ ДЕТСТВЕ
# ПИСЬМО ИЗ СИБИРИ

GYUZEL AMALRIK

# Childhood Memories
# Letter from Siberia

AMSTERDAM
1976
THE ALEXANDER HERZEN FOUNDATION

ГЮЗЕЛЬ АМАЛЬРИК

# Воспоминания о моем детстве

# Письмо из Сибири

АМСТЕРДАМ
1976
ФОНД ИМЕНИ ГЕРЦЕНА

## ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Первым впечатлением от моего пробудившегося сознания было то, что около себя я вдруг увидела двух близнецов, это были две девочки с довольно светлыми русыми косами, они меня пытались взять на руки, а я лежала на кровати, закутанная в одеяльце. Я не помню матери, которая меня кормила грудью ежедневно, почти ежечасно, я только помню, как одна из близнецов, отталкивая другую, хотела меня схватить; вероятно, мама отлучилась на кухню, и у девочек было искушения взять меня на руки. Я не могу сказать, сколько было им лет, может семь-восемь. Впоследствии, когда мне самой было семь-восемь лет, я уже жила против того дома, в подвале которого пробудилось мое сознание, я увидела возле дома, в котором я жила раньше, гуляющих двух близнецов, девочек лет пятнадцати. Когда я посмотрела на них, я вспомнила их тогда в моем подвале.

Подвал, в котором я жила, был очень мрачный, я не помню его при дневном свете, а помню только ночью. Я помню ночь и большую черную комнату, стены которой сквозь темноту мерцали сумрачно, и как-будто они удалялись от меня далеко-далеко, и я видела посредине комнаты огромную фигуру до потолка с длинными черными волосами и распростертыми руками, как-будто двинулась на меня она — и мне было очень страшно. Я закричала и заплакала. Мама проснулась, подошла ко мне и спросила, что я плачу. А я плачу и показываю пальцем на фигуру и говорю, что боюсь эту страшную тетю до потолка. Мама засмеялась, подошла к тому месту, где была эта женщина, и сказала, что это столб, а на столбе висят пальто и платок; мама меня успокоила, и я постепенно заснула.

Когда мне было четыре или пять лет, мы переехали из подвала в дом, который стоял по другую сторону узенькой улицы, по которой шли, грохоча и звеня, трамваи. Резким контрастом черной комнате со страшилом ночным является в моем сознании какое-то светлое солнечное и радостное пятно: я очень отчетливо помню белые стены с солнечными лучами и еще почему-то черную розетку радиосети. Два окна с большими глубокими подоконниками, на которых можно не только сидеть, но даже лежать, как на диване. Иной раз в летние вечера я лежала там на подстилке и очень сильно завидовала моим сверстникам, которые играли во дворе — бегали, кричали, а я не могла еще ходить: мои ноги имели форму колеса и настолько были деформированы, что я только и умела ползать на четвереньках: я болела рахитом, начала я ходить самостоятельно только в шесть лет. Я с тоской и завистью смотрела со второго этажа на двор, водила по стеклу пальцем, а потом с грустью отворачивалась от окна к комнате, а в комнате было дымно от выкуренных папирос, и я видела своего папу и его трех братьев. Мне особенно был симпатичен один из них, с очень густой и черной шевелюрой, со смуглым цветом лица, с горящими глазами из-под очков, которые глядели на меня очень ласково, у него были толстые губы.

Братья говорили на татарском языке и все время о чем-то спорили — вполголоса, потому что за стеной были соседи. В разговоре часто упоминался человек, которого они называли по-татарски «кара кют», то есть «черная жопа». Я очень отчетливо помню, что в адрес этой «черной жопы» было высказано очень много неодобрительного, говорили, будто эта «черная жопа» ни к чему хорошему не приведет. А мой любимый дядя сказал, что он частенько слушает «Голос Америки», но только потихоньку от соседей, негромко. «Ох как критикуют в Америке «черную жопу»!» — восклицает дядюшка и тихо добавляет: за то, что он слушает радио и ловит Америку, его могут арестовать, это запрещено. Мне стало любопытно, и я привстала и, глядя на моего любимого дядю, спросила: «Папа, а кто такой «черная жопа»?» Я всегда

любила повторять слово, которое мне нравилось. Дядя улыбнулся и громко удивленным тоном меня подозвал к себе и обещал мне что-то показать, мама мне помогла спуститься с подоконника, и быстро-быстро я подползла к своему дяде, а он меня берет на колени, усаживает — и я кашляю от его курного запаха. А он достает небольшой сверток, разворачивает его, достает оттуда что-то и громко восклицает: «А вот я тебе принес в подарок саксонскую шапочку!» Шапочка была темнорозового цвета и очень пушистая, она безумно мне понравилась, он мне надел ее на голову, и я почувствовала себя очень счастливой, даже забыла про свой вопрос, про «черную жопу» и Америку.

В то время братья были очень дружны, их связывал приезд из деревни в Москву, во время войны они все бежали от голода, продавая свое имущество за хлеб. В Москве отец устроился на вокзале грузчиком: он разгружал товарные вагоны. Я помню, когда мне было четыре-пять лет, как он неожиданно приехал откуда-то в солдатских сапогах, в шинели, мама страшно обрадовалась его приезду, был страшный мороз, и шинель его была вся в инее. Он привез много подарков, мне красивые пинеточки и красный сатин для платья, красные пинеточки мне до того понравились, что я не могла той ночью долго уснуть и то и дело вставала из кровати и подползала к шкафу, чтобы погладить их руками. Я помню еще, что он привез какие-то консервы, которые он назвал «американскими», и швейцарские часы, которые не помню совсем, вероятно он их продал. Потом отец мне шутя приколол на грудь медаль, а что было изображено на медали, я не знаю, но думаю теперь, что это была медаль в честь 800-летия Москвы, в 1947 году ее всем без исключения давали.

Трудно было моим родителям перелаживаться на городской лад. Не зная русского языка, культуры и быта, они и все мои родственники попали в этот большой город совершенно не подготовленными к городскому ритму жизни; оторванные от деревенской жизни, они крайне тяжело прививались в городе, и с окружающей средой у них было мало контакта. С

самого детства я помню, что русские относились к татарам крайне враждебно; я говорю о русских из рабочего класса, а других я не знала. Может быть, это в силу их необразованности и общей мрачной атмосферы тяжелой жизни. Как я сейчас помню, мама изредка выносила меня во двор и усаживала на стул, а девочки и мальчики уже кричали и смеялись, глядя на меня, и называли меня татаркой и кривоногой, кидали в меня из мусора чем попало. Какая-то из девочек подошла ко мне и предложила хлеб с творогом, как она назвала; я с жадностью схватила, потому что был сильный голод, но оказалось, что есть было невозможно: это была черствая корка хлеба из мусора и на нее был навален каменистый белый раствор вроде известки или алебастра. Повидимому, им очень нравилось надо мной посмеяться.

Появилась тогда моя сестра Соня, которую я совсем не помню до восьми лет. Моя мама не только обильно кормила мою сестру, но и меня — я пила ее молоко из чашечки, оно было сладковатого вкуса. Еще мама сдавала молоко в донорском пункте, она была подобна молочной корове: сдавала туда по два литра в день. Она получала за это сколько-то денег, и даже назначали для меня бесплатное государственное питание из диетической столовой, от голода у меня был рахит. Потом я пила молоко матери и при рождении других детей.

## ИСТОРИЯ НАШЕЙ СЕМЬИ

Я родилась в самую войну — в 1942 году, в деревне под Нижним Новгородом. До меня, по рассказам мамы, у нее были еще дети: трое девочек и двое мальчиков-близнецов, все они умерли. Последние до моего рождения двое мальчиков-близнецов дожили до трех лет, были очень красивые, черноглазые, белолицые, оба заболели дизентерией и умерли от нее. Я первая из всех детей, кто выжил, хотя очень болела. Со мной на руках мои родители бежали из голодной деревни в Москву в 1943 году. В это время мы жили в подвале, я не помню, как у нас было в комнате, только из маминого рассказа знаю, что пол у нас был цементный. Позднее, я помню, мама рассказывала, как она жила раньше, она все время сравнивала то время, когда жилось лучше, с теперешней жизнью. Она говорила, что до коллективизации они жили хорошо, добротный дом имели, держали хозяйство со скотом и птицей; хотя в летнюю пору они и работали от зари до зари, все это для себя, а зиму они отдыхали, женщины пряли, вязали, вышивали. Она с грустью вспоминала свои молодые годы, и лились при этом светлые слезы. А какие были воскресные гулянья, говорит она, все девки и парни соберутся и отправляются кататься на повозке, запряженной тремя конями с колокольчиками, да на базар. А на базаре тоже молодежь, чего только на базаре не купишь: и сафьяновые сапожки, и красивые сережки, и платья, и ярчайшие платки, а сластей там не перечесть: орехи, леденцы, пряники разные; пышный каравай хлеба стоил две копейки. И вот они наберут этих сластей, и сердце радуется, а парни в сапожках лихо подмигивали девушкам. Парни очень любили устраивать игры, любили показывать свою силу, особенно перед

девушками. Это татарские игры, например, верхом на коне — кто кого свалит с коня, тот и джигит.

Я очень маму любила, когда она вот так без тревоги спокойно сидела на табурете — стульев у нас не было, — рассказывала мне и расчесывала волосы, у нее тогда были длинные с шелковым блеском черные мягкие волосы, они были очень теплые, словно дышали. Она медленно проводила гребенкой по волосам и, иногда останавливаясь на середине волос, о чем-то думала и потом запевала вдруг свои татарспоминания. А потом, делая длинный пробор, она откидывала волосы, и я видела слезы на ее глазах. Мне тогда было лет восемь-девять. Еще мама с умилением рассказывала про зимние гулянья и игры, она вспоминала зимнее время, лунный вечер, как собрались девушки и парни покататься на салазках, а салазки были огромные, и умещалось там человек десять, зима была сухая и холодная, мама лишь в длинном платье прямо без штанов и в тулупе — и не было холодно ей, зато было очень весело; набиваясь в тесную кучу, они с гиком мчатся под гору, и далеко-далеко уносятся салазки вниз и врезаются в какую-нибудь яму, и все кубарем с визгом падают друг на друга, и снова с салазками наверх, потом с веселым криком вниз, в эту блаженную яму еще не осознанных страстей. Когда мама рассказывала это, ее лицо было лукавое и радостное, ей, видимо, было приятно вспоминать блаженные и беззаботные дни. Мама говорила, что тогда были нравы чистые, боялись Бога и отца, не было грубостей. Маме было тогда лет пятнадцать; когда она мне это рассказывала, мне было шестнадцать лет.

К моему сожалению, я очень мало знаю о моих предках, да мне и не рассказывали об этом, потому что родители сами почти ничего не помнили. Из рассказанного моим отцом я только помню, что мой прадед был очень интересным человеком, тяготел к религии, поехал в молодости в Каир и там поступил в медресе, там же в Каире он женился на египтянке, так что в моих жилах не только татарская, но и арабская кровь. Окончив медресе, он приехал в свои родные места и стал муллой; отец и дядя рассказы-

вали, что он был еще религиозным писателем и написал много книг, кроме того, он обладал ораторскими способностями и необразованным татарам проповедывал ислам, умел лечить калек и убогих, за что и полюбили его люди, из всех окрестностей и далеких местностей стекаясь к нему со своими болезнями, просьбами и за благословением. В своих книгах он писал о каком-то своем учении, но вот пришла революция, и ему пришлось зарыть свои книги под мечетью от революционеров. Вскоре он умер нелепой смертью, съев вкрутую три яйца и получив заворот кишок, тем и кончилась его славная религиозная жизнь. Дед же мой был менее способным человеком и не оставил после себя ничего такого, как только сына, то есть моего отца в возрасте семи лет. Проучился мой отец в татарской школе всего три класса и ушел, был в классе очень строгий учитель и имел при себе всегда весомую палку, чуть кто не слушает его, учитель на того поднимал палку и бил очень сильно. Не выдержав такой строгости, отец бросил школу, с ранних лет он пошел работать. В то время была очень тяжелая жизнь, не хватало хлеба, но зато была власть рабочих и крестьян.

В 1936 или 1937 году отца женили, даже не спросив его, хочет он этого или нет, на моей матери, девушке семнадцати лет, которую он видел только раз до этого, ее тоже не спросили, мама его раньше и не знала, он был из другой деревни, так и поженились. Мама, по ее рассказам, в молодости любила рыжего парня, который умер вскоре после ее замужества, кажется от туберкулеза. С замужеством у матери стали появляться дети и так же быстро умирать. С моим появлением родители стали подумывать об отъезде из голодной деревни в город, и через год мы переехали в Москву, такую же голодную, как и везде. Отец почти сразу же устроился разгружать товарные вагоны, к войне он был негодный, зрение у него было плохое, и он получил инвалидность. Помню, как он любил использовать свою инвалидность для покупки муки: в то время было очень трудно с мукой, и когда привозили ее, то становилось великое множество народу, около тысячи человек, на ладо-

нях записывали чернильным карандашом номер очереди, если окажется, что номер повторяется дважды, то лишнего человека выбрасывали из очереди; мой отец, подходя к очереди, сразу менял свою походку, становился хромым на одну ногу, подходил к продавщице с деньгами, очередь, разумеется, галдела на него, а он, издали помахивая инвалидной книжкой, восклицал: «Я инвалид отечественной войны, мне полагается без очереди!» И выдавали ему согласно установленной норме, я уже не помню сколько, кажется 3 или 4 кг.

Когда мне было лет шесть, в доме у нас появилась совсем неожиданно женщина и стала жить у нас, у нее было очень грустное лицо и очень красивое, она была не очень большого роста, тоненькая, с черными волосами, она со мной часто играла и говорила, и я за это ее любила, мне нравилось смотреть на нее, у меня к ней была странная влюбленность, может быть так глубоко действовала ее красота. Я не помню, как ее звали, красивая женщина ассоциировалась у меня с желтым деревянным полом, чисто вымытым, она часто его мыла, ловко у нее получалось, с горящей печью, от блесками света, с картиной с мечетью на стене. Но потом красивая женщина неожиданно исчезла, уехала куда-то. Позже моя мама рассказывала, что женщина эта была невестой моего дяди по материнской линии, которая ждала его всю войну и дальше, но так и не дождалась: прислали извещение, что он без вести пропал, так и не вернулся. Мама говорила про него, что, когда наступила война, он не хотел воевать — из трусости или он не любил убивать, и он решил спрятаться в доме под полом, ему подавали туда еду, но не долго ему пришлось так хорониться, его выдали свои же соседи, которые приходили к ним в дом, пришли военные коменданты, выволокли его оттуда и поставили в штрафной батальон; может быть, его расстреляли свои, а может быть попал под пулю немца.

## БАБУШКА

Моя бабушка по отцовской линии в старости была парализована и навсегда прикована к постели, лишь по своей нужде при чьей-нибудь помощи вставала из кровати. Бабушка невероятно была скупа. Помню, однажды я с бабушкой вдвоем сидела дома и остервенело чесала свою голову частым гребешком, я все время нервно дергалась от вшей, которые бороздили мою голову и мое тело. На табурет я постелила белую бумагу и вычесывала туда вшей, их было не перечесть, я их ожесточенно давила ногтем на бумаге, и раздавалось при этом «щелк-щелк», даже холод по телу бродил, и мурашками покрывалось оно. Вдруг заскрипела кровать, и голос старой бабушки вторил щелку, как звук старого ржавого корыта, который меня очень напугал. Бабушка закричала: «Что ты сахар ешь без разрешения?!» Она приняла хруст раздавленных вшей за хруст сахара и хотела даже поднять свое тело, несмотря на то, что была парализована. Я очень испугалась ее, взяла табурет с бумагой, поднесла к постели и показала, что я делала. Но она не очень-то поверила, продолжала бормотать ругательства и грозилась сказать маме и отцу.

Моя бабушка очень любила меня учить молитвам, часто мне читала из корана, я мало что помню из того, что она мне говорила и читала, но остались в памяти некоторые молитвы, которые иногда произношу про себя и сейчас, совершенно искренне и с внутренним самоотречением, но тогда, когда слушала я ее арабские молитвы и чтение, это было только из почитания и из страха, что она на меня закричит, мне было даже скучно. Она считала, что хотя я сейчас ничего не понимаю, но зато после я все это вспомню и пойму, важно, чтобы я прониклась всем этим религиозным духом.

Вообще я свою бабушку не очень любила, в продолжение всего моего детства она все время лежала парализованная, старая и злая и, как все больные, требовала к себе чрезмерного внимания, которого невозможно было получить в наших ужасных условиях. Вспоминаю один эпизод, связанный с ее злостью. Как-то раз, когда мне было лет семь, мы с бабушкой были одни, а отец с матерью на работе, я спала и вдруг слышу сильный грохот какого-то предмета о мою кровать и сильный стук в дверь; оказывается, уже давно стучал в дверь мой отец, пришедший с работы; я очень крепко спала и ничего не слышала, а бабушка взяла лежавший около нее поднос и кинула в меня, но, к счастью, в меня он не попал, а упал возле и с грохотом и лязгом ударился о кровать, тут я проснулась и открыла дверь отцу.

У нас прямо в комнате стояло ведро для бабушки, она справляла туда свою нужду; когда мама и папа были на работе, я ей помогала вставать, но она для меня была слишком тяжела и я с трудом помогала приподнять ее худое тело. Однажды она нечаянно ногой парализованной ударила по ведру, и почти полное оно упало на пол и разлилось по всей комнате, запах был нестерпимый, мне без всякой помощи пришлось с трудом убирать, и при этом у меня текли слезы от страшного запаха и горечи, что мне, такой маленькой, приходится убирать. В это время к моей матери случайно зашла что-то спросить наша соседка, тетя Шура, в руках у нее была буханка белого хлеба в форме кирпича, я с жадностью смотрела на этот хлеб. Тетя Шура, заметив мой голодный взгляд, отломила большой ломоть, и я схватила, даже не сказав ни слова, и быстро умяла этот ноздреватый хлеб. Он был такой мягкий и вкусный, может быть, от тогдашнего голода таким показался, что сейчас уже такого не встречу наверняка. Когда я ела с жадностью этот хлеб, он пах очень сильно говном, видимо, плохо вымытая комната так пахла или так пахло от моих испачканных рук, но долгое время еще вкус хлеба ассоциировался у меня с запахом говна. Хлеба мне никогда не удавалось поесть вволю, помню, недалеко от нашего дома была пекарня, и

часто я с жадностью смотрела в окна этой пекарни, как там в жару среди вкусных запахов работали пекари в белых штанах и рубашках; я решалась просить бублик, когда меня замечали за окном; иногда мне давали, и я с радостью благодарила пекаря и хватала зубами вкусный бублик.

Когда мне было уже лет восемь-девять, я гуляла во дворе, мама меня позвала за чем-то, иду к маме, а она почему-то молчит, ничего не говорит, я спрашиваю, зачем она меня зовет, она только говорит мне одной: «Пойдем», — и ведет меня в комнату. Я подумала, что, может быть, я сделала что-нибудь нехорошее в комнате, может быть, она будет меня наказывать; вхожу в комнату, в необычную тишину, и вижу бабушку мою, лежащую на полу и неподвижную, лицо у нее было отточенное и острое, цвета шафранного, мама стояла и по-прежнему молчала, руками взяла меня за плечи и тихо сказала: «Бабушка умерла». Я удивилась и спрашиваю, как это умерла. и хотела было подойти к бабушке и разбудить, но мама дернула меня к себе, я опять ее спрашиваю, как она умерла. Мама сказала, что в то время как я гуляла, а она стирала, бабушке стало плохо и она все время просила пить, а потом ей стало душно, и она попросила положить ее на полу; мама положила, как велела бабушка, и на полу она глубоко вздохнула и тихо скончалась. Мама накрыла ее лицо большим белым платком, а меня отпустила на двор, отец в это время был на работе.

Через день или через два, я точно не помню, пришли к нам наши родные, дети нашей бабушки, прощаться с ней, она лежала убранная, завернутая в белую простыню, в глубоком ящике, отец его сам сколотил из досок; все стали целовать бабушку; когда моя очередь настала, я подошла к ящику, но достать до ее лица было невозможно, меня кто-то поднял на руки и пригнул, мне не хотелось ее целовать, но все смотрели на меня, и я была вынуждена поцеловать ее в холодные щеки. Затем ее понесли, ящик казался очень тяжелым, несли его человека четыре или пять; когда несли по двору, жильцы почти со всего дома собрались любопытства ради посмотреть на зрелище.

Когда все поехали на кладбище, какие-то женщины меня спросили: почему ее хоронят в ящике, нет денег или так полагается? Я только сказала, что не знаю, а в горле у меня стоял комок и я готова была плакать, я быстро побежала от женщин играть, я до сих пор не знаю, почему в ящике ее похоронили, по-видимому, просто не было денег, но все-таки мои родители позвали множество гостей и поминали ее; мама, помню, сделала татарский плов с изюмом, это специальный плов, который едят на поминках.

Бабушка умерла, и даже странно было, что не слышно ее молитв и чтений по корану, но прямо скажу, что мне было без нее лучше, я не ощущала уже постоянный на себе ее глаз, не слышала ее крика старческого и визгливого, не вытирала то и дело за ней ее гадости.

Бабушку по материнской линии я мало помню, она только раз, может быть, приезжала в Москву навестить мою маму, и запомнилась она так мне: будто она сидела на стуле, а стул стоял почему-то на кровати, и она такая высокая, статная, с длинными черными волосами без единого седого волоса, иссиня-черные волосы у нее были, я помню, что лицо у нее было очень красивое и светлое, с синими глазами, а у ног ее лежала большая связка сушек, и всё, больше я ничего не помню.

## РОЖДЕНИЕ БРАТА

Когда мне было пять лет, родился мой брат Мансур, его рождения я совсем не помню, помню лишь один эпизод с ним. Как-то раз пришел к нам бабай с бритвой в руке, сначала он начал бормотать какие-то молитвы, а потом, закрыв глаза, запел эти молитвы каким-то тоненьким визгливым голоском. Мама придерживала тельце моего брата, и бабай начал свое нехорошее дело. Я не понимала, что происходило, но мне казалось, что что-то нехорошее бабай делает. Бабай велел маме меня прогнать во двор, но я не пошла во двор, а притаилась возле двери, слушаю, сначала было тихо, потом брат как закричит и заплачет, мне стало очень жаль его, и думаю, что же с ним делают, хотела было войти, но дверь оказалась запертой на крюк. Я плакала в коридоре от беспомощности своей и кулаками ударяла в дверь. Когда кончилось это издевательство над братом, меня впустили — и уже вижу его в корыте, усталого и исплаканного всего, а потом его вынули из корыта и положили на кроватку, а ноги его мама привязала вместе и слегка подняла вверх, прикрепив одним концом веревку к гвоздю на стене. Бабай, еще раз помолившись, взял деньги от матери и, угостившись, покинул нас.

Позже мама мне сказала, что это такой обряд, что мальчикам всем делают обрезание, чтобы приобщить их к Богу, вроде русского крещения, только русские крестят, окуная ребенка в воду. Я точно не помню, от кого я слышала, от матери или от бабая, который часто посещал нас по пятницам, прочитывая молитвы, будто такой обряд, как у мусульман, гораздо правильнее, чем у православных; а почему правильнее, я и сама не знаю, мне кажется, что это одно и то же.

## БОЛЕЗНИ, БРЕДЫ

Однажды я решила самостоятельно, без чьей-нибудь помощи, выйти во двор, мне было тогда уже около шести лет, быть может; было жаркое лето, и меня тянуло на улицу. Для меня это было целое путешествие, на четвереньках ползком из двери в длиннющий коридор, коридор был цементный, мне предстояло проползти мимо чужих дверей, дверей было пять слева и пять справа: справа жилые, а слева против каждой жилой комнаты — личный сарай. Миновав этот длинный коридор и холодный, выхожу на освещенную окном площадку и затем спускаюсь по бесконечной лестнице со второго этажа вниз; помню, это для меня было бесконечным путешествием, и я, наконец во дворе. Стала я играть на песке, как вдруг меня окликнули: «Розка, ты что-то потеряла!» Я оглянулась, и две сидевшие женщины сказали, что у меня из трусов что-то падает, я испуганно посмотрела около себя и увидела, как из меня вылезали огромные глисты, размером сантиметров десять. Я страшно испугалась этого и быстро отползла далеко от них, а тут недалеко как раз дворник мел двор, он увидел моих глистов и, удивляясь вслух, сгреб в лопату, а женщины, сидя праздно на лавочке и лузгая семечки, так же громко обсуждали происходившее, и мне казалось, что очень надо мной смеялись и осуждали, помню, как они все время повторяли: «Татарка, а вот татарка!»

Эти глисты мне не давали покоя до пятнадцати лет, я все время мучалась от них, каждый день у меня было тошнотное состояние, и я без конца лишь пила воду, они подходили к самому горлу и жадно всасывали эту воду, все, что я ни ела, попадало этим проклятым глистам, и становились все наглее и наглее они, жирнее и жирнее, они не давали мне спать, а я

не давала спать родителям, просила их, чтобы ставили небольшой стул на мою кровать вместо подушки у изголовья, и, сидя, подперев голову стулом, я таким образом проводила ночи, запасшись банкой с водой. От глистов мое лицо было шафрановое, и тело мое постепенно поедалось ими, я была настолько худа, что всегда считала на моих боках ребра; моя мама достала откуда-то так называемое средство и тем меня лечила, но это мне мало помогало, по-прежнему я не спала ночами, и меня всегда тошнило. Наконец, после долгих мучений, мама решила показать меня врачу, и врач выписал какое-то горькое семя, называемое цитварное, после этого мне стало немного легче, но все равно я всегда была в напряженном состоянии, ожидая каждую ночь этих живоглотов к самому горлу, и глисты меня довели до того, что ночами я бредила и со своими галлюцинациями ходила по ночам по комнате, пугая своих родителей, годам к шести-семи я уже немного оправилась от рахита и начала ходить.

Помню, однажды ночью я встала в бреду, что-то бормоча, подошла к столу и шарю по столу, на мгновение я пришла в сознание и опять углубилась в сон. Стоя во сне, я вспомнила, что мне нужно, да, мне нужен нож, и я шарю по столу в поисках ножа, следующее мгновение я снова возвращаюсь в реальность и забываю, зачем я здесь, и бормочу про себя что-то, вспоминая ускользнувшее только что от меня; снова я заснула, стоя у стола, и вдруг страшный шепот меня будит: «Что ты ищешь?» А это моя мама проснулась от моих бормотаний и меня сама же испугалась, я стояла в склоненной позе над столом с протянутой и ищущей что-то рукой; она снова повторила свой вопрос, я не могла понять ее, до меня никак не доходил ее вопрос, она третий раз повторила вопрос — и я наконец поняла, что она спрашивает, я силилась вспомнить, что я ищу, смутно на языке болталось слово и даже начало его, но целиком мне трудно сразу вспомнить и выговорить, и вот проясняется, проясняется в голове, и выговариваю слово: н-н-н-о-о-ж, н-н-о-ж, сама вдруг удивляясь, зачем мне нож сдался. Мама встала, уложила меня на кровать и закрыла с головой одеялом.

Однажды, припоминаю, я также в бреду встала и залезла под кровать свою в поисках галош, которых у меня не было в реальности, тщетно шарила под кроватью, вновь забывая, что я ищу, прочаливаясь в сон, в бред; мама так же, как и в тот раз, проснулась от моих бормотаний и уложила меня. Я не могу сказать, открыты были мои глаза или нет, но я помню отчетливо, как я уверенно прошла к столу, несмотря на то, что препятствовала стоявшая посредине раскладушка; все предметы обстановки запечатлелись в мозгу, как бы сфотографировались, и я как бы уже вижу вокруг себя, точно моим движением руководит фотосигнальный мозговой аппарат. Мама говорила мне после, что у меня во время хождения во сне глаза закрыты. Как-то раз мама меня поймала уже в общем коридоре; сколько движений можно сделать во сне, столь последовательных, кратких и точных, что не сделаешь в реальности; я с такой ловкостью проделала это — сначала встала, пошла на кухню, сняла большой крюк с двери, а потом повернула ключ и вышла; я помню, что я с большим трудом в реальности снимала этот крюк, все это для меня сейчас является загадкой. Это, по-видимому, лунная болезнь, но сейчас я уже по ночам не хожу лунатично; правда, иногда разговариваю во сне.

Вообще все эти болезни — рахит, глисты, воспаление легких, ангина, без конца мучавшая меня, а также гриппы — меня превратили в сплошной нервный комок. В бессонные ночи я любила мечтать, это было для меня самым излюбленным занятием; самым волнующим и вместе с тем пугающим было приближение школы, я представляла свою будущую учительницу, почему-то молодую, красивую и тонкую, и как я буду ее любить и учиться буду на 5; оценку 5 я уже понимала как нечто хорошее, я еще не понимала, как это можно учиться на пятерки или на двойки, эти цифры звучали для меня какой-то абстракцией, но я слышала от взрослых, что хорошо учиться только на 5, и когда кто-то меня спрашивал, как я буду учиться, я неуверенно говорила, что буду учиться на 5.

## НИЩИЕ

Наша комната была небольшая, только 14 кв. метров, с двумя небольшими окнами, между двух окон возле стены стоял большой патриархальный стол, очень высокий, за которым я могла сидеть только на подоконнике, соперничая со взрослыми и рослыми, справа от окна стоял возле стены коричневый старый комод, и тут же стояла кровать моих родителей, слева от второго окна у стены стояла кровать моей бабушки, и тут же кровать моя, где спала я с маленьким братом, возле кровати вдоль стены стоял большой кованый сундук зеленого цвета вместо гардероба, в этот сундук складывали разные тряпки, посередине комнаты на ночь ставили раскладушку, на ней спала моя младшая сестра Соня; над бабушкиной кроватью на стене под стеклом висела картинка с мечетью, под мечетью арабскими буквами написано что-то из молитвы; напротив окон у стены стояла большая голландская печка, почему она называлась голландская, я не знаю, раньше у многих были такие печки, за печкой в углу дверь в общий коридор, ведущий на лестничную площадку. Напротив каждой комнаты в коридоре была кладовка, или сарай, 6-8 кв. метров, в этих сараях обычно держали дрова, тогда еще не было газовых плит, а пищу готовили зимой на печке, а летом на керосинке, от этой керосинки стоял тяжелый керосинный запах в комнате, а потолок и стены копотью покрывались.

Когда мне было лет восемь-девять, отец в то время работал истопником и дворником, к нам неожиданно пришли странные и оборванные люди, было видно, что они из деревни, их было, может быть, человека четыре, и все мужчины, они просились к нам на ночь; родители их пустили, несмотря на то, что нам самим было очень тесно. Эти люди были не старые,

35-40 лет, трое в солдатских шинелях и полуобтрепанных сапогах, и когда они готовились ко сну и снимали сапоги, то от них очень невыносимо пахло потом, мама всегда говорила на это, что русские пахнут свиньей.

Когда они к нам вошли и попросились на ночевку, то сказали, что они все из деревни, погоревшие, потерпевшие, их дома сгорели, и они приехали в Москву устраиваться, что часто они ночевали прямо на вокзале, но вот они решили у кого-то квартироваться за умеренную плату, а именно по рублю с каждого за одну ночь — тогдашний рубль это теперь 10 копеек. Эти погорельцы устроились у нас на полу, другого места не было, пришли и на другой вечер, а на утро оставляли деньги и уходили куда-то неизвестно зачем. Однажды я проснулась очень рано, родители еще спали, и вижу, как один из них считает деньги, их было много, а потом он их прятал куда-то, на другой день я опять вижу то же самое: все они, давно проснувшись, что-то шептали и считали свои деньги, я почему-то сразу подумала: как похожи они на разбойников. Вечерами, когда они приходили неизвестно откуда, они доставали сальные свертки газетные со свининой и с черным хлебом ели, и пили иногда водку, пригласив отца. Постепенно наши погоревшие привыкли к нам, с отцом они говорили о политике, особенно яро спорил один, в военной гимнастерке, и были на нем какие-то погоны и на груди какие-то знаки отличия, он считал себя очень культурным человеком и говорил, что на войне был командиром батальона; когда он говорил все это, мне всегда казалось, что он говорит неправду, я видела это по глазам его, все время он хвастал, но однажды сказал правду про себя и своих товарищей, что они вовсе не погоревшие, это они придумали, чтобы вызвать жалость и тем самым заполучить деньги, что в колхозе им совсем не платят, они не могут прокормить семью, государство берет налоги большие, они убежали из колхоза, и вот как они зарабатывали себе на жизнь и помогали семьям: они ходили по домам, где живут высокие чины — полковники и генералы, там они всячески старались держаться гордо и дос-

тойно и скромно описывали свое бедственное положение, что сгорело несколько домов от пожара и что они без дома, без денег, и так умели разжалобить их, что генералы и полковники давали довольно внушительную сумму.

Иногда эти люди приводили с собой еще такого же «погоревшего» к нам ночевать, родители уже начинали бояться, не вызовет ли это какого-нибудь подозрения со стороны соседей, ведь к нам толпою ходят подозрительные люди, полуоборванные «профессиональные нищие». Мама не знала, как их устроить, на полу уже не оставалось ни клочка свободного, все было устлано их шинелями, нельзя было ночью пройти в туалет, так что приходилось перешагивать через них или шагать прямо по ним. Всего нас в комнате получалось человек одиннадцать-двенадцать, дышать было нечем, родители были недовольны, что приютили их, но деньги, которые они нам оставляли, оказались сильнее тесноты, и они терпели.

Однажды один из самых молодых, по имени Петя, он был красивый по-деревенски, курчавый, глазастый, зубастый, привел с собой молодую красавицу, черноглазую, чернобровую и с черными косами, убранными вокруг головы, роста она была небольшого, но крепко сложенная, говорила воркующим говорком украинки, она оказалась его невестой, он попросил, чтобы родители и ее приняли на небольшое время. У моих родителей лопнуло терпение, и они строго сказали, что держат их последнюю ночь. Наутро все ушли, оставив ночлежные деньги, а вечером пришли снова только Петя со своей молодой красавицей, что вот он устраивается на работу в городе и тогда, может, получит место в общежитии; родители все же их приняли, сжалившись или, может быть, из-за денег. Ночевали они несколько дней, потом исчезли, и больше никто к нам из «потоговевших» не приходил, и только спустя год или два зашел этот Петя, уже в новом пальто, купленном на заработанные деньги, он устроился работать шофером и жил в общежитии, сообщил нам, что жена его родила ребенка, а про остальных он ничего не знал, ходят ли они еще в роли погоревших и потерпевших или нет.

## СНЫ, МУЗЫКА, ГОРА

Чаще всего я себя помню в ночное время, потому что это было связано не только с мучившими меня глистами и прочими болезнями, но и с моими мечтами и фантазиями, может быть это тоже было в некоторой степени болезнью. Комната наша ночью приобретала фантастический характер, при тусклом свете от соседнего дома тени и вещи, висевшие на гвоздях в стене, виделись мне сказочными образами, один образ — страшное чудовище — сошел со стен в мой сон, будто я совсем маленькая стою перед этим волосатым чудовищем в неясном волнении и страхе, оно пугало меня и вместе с тем притягивало к себе и волновало, оно берет меня на руки, а руки у него как деревья, толстые и косматые, я вырываюсь из рук и кричу, а чудовище говорит мне: «Ты будешь моей женой!» Я снова вырываюсь и кричу: «Мама, мама!» Я боюсь его. И тут же просыпаюсь, у кровати стояла моя мама, очень испуганная, и молилась вслух, потом сказала мне, что, видимо, я перед сном не молилась, вот и снятся нехорошие сны. «Мама, — говорю я, — мне снилось страшное чудовище». Она мне: «Это шайтан тебе не дает спать, повернись на правый бок и скажи вот это: Аузе билляги имня шайтанне, бисмилля иррахмян ирраджим!» Больше в эту ночь мне не снились страшные сны.

Часто мне снились сны, будто я лечу над землей и над морем, над городами, над пропастью, иногда в темноте. А еще мне снился сон, будто чудовищный глазастый автобус по имени Черчилль преследует меня, он неустанно гонится за мной по горам и долам, и вот я вижу узенькую голубую ленточку реки вдали, и добегаю от страшного автобуса до голубой ленты и встаю на нее, и автобус уже не может меня догнать, и тут я просыпаюсь, а утро вовсю разлилось

по комнате уже давным-давно, и громкоговоритель без конца то и дело повторяет имя какого-то Черчилля, Сталина. У нас всегда с шести утра включается радио, начинает хор петь гимн Советского Союза, и до вечера неустанно говорит, поет и орет. Я помню, что все время произносили имя Сталина, но я не придавала этому значения, я не знала, кто это — «Сталин». Но постепенно я стала припоминать давнишние разговоры о «черной жопе» и стала догадываться, кто это, стала вслушиваться, что говорили по радио, я помню, что всегда повторяли «наш великий вождь и учитель...» Я тогда ничего не понимала.

С особым вниманием и страстью я слушала музыку по радио, иногда радио плохо слышно было, и я брала со стены радио в виде рупора черного цвета и подставляла к уху, подкручивала для громкости, хотя результата от этого никакого не было, и так слушала. Помню, мне очень нравился полонез Агинского, который звучал очень плавно, широко и печально, как о чем-то безвозвратно ушедшем, я до сих пор его люблю, он связан у меня теперь с фильмом Анджея Вайды «Пепел и алмаз». А потом звучал Чайковский с его русскими напевами, его музыка казалась мне фарфоровой фигуркой балерины, которую мне подарила моя подруга, она стояла у нас на старом комоде, казалась навсегда застывшей, но красивой и почему-то быстро мне надоевшей, как будто я через силу с'ела много сливочных тянучек. Следующей музыкой была музыка Моцарта, о, это была музыка божественная, от ее звуков я чувствовала, будто я сейчас взлечу, и тело испытывало неземное блаженство, я дрожала от восторга, сердце мое прыгало в такт стихийной радостной музыке, и я чувствовала при этом несказанное томление.

После слушания музыки, вечером я никак не могла заснуть, вероятно от музыкальных впечатлений, долго лежала на спине и мешала спать другим своими разговорами, вопросами, насмешливо повторяла вслед за матерью молитву, а потом мама приказала спать, и наступило молчание, последнее окно соседнего дома загасло, и остались только луна и я с открытыми глазами; в доме все спало, я тоже хочу заснуть, но

тщетно, долго я так лежала, пока с востока луна совсем не приблизилась к моей кровати, и я тихо незаметно уснула. Но вскоре я неожиданно проснулась, и мне казалось, что я совсем не спала, я проснулась от громких веселых разговоров родителей, я несказанно удивилась, почему мне приказано спать, а они не спят, мне показалось необычным это их поведение, и я решила тихо за ними наблюдать, не показывая виду, что я не сплю. Мама почему-то смеялась, и смех мне показался довольно странным, чужим и даже неприятным, потом в воздухе раздался звучный хлопок обо что-то мягкое, снова мамин дурацкий смех, потом они стали о чем-то шептаться, и я различила слово «перестань», произнесенное шопотом мамой. «Очень странно, может быть, папа ее бьет, она почему-то не плачет, папа нехороший человек, он и меня бьет своим солдатским ремнем, и всегда попадает как раз концом большой медной пряжки», — тут я впала незаметно в забытье, а когда опять проснулась, то вдруг услышала такой шум и скрип, что трудно описать словами, такой цокот и клекот и шопот, эти звуки наполнили и заполнили комнату, все гудело, шумело и свистело, то ли шелест, то ли ветер свистал и гудел, кровать жалобно визжала и как бы просила о помощи. Я посмотрела в сторону кровати и вижу совершенно странное: на кровати высоченная гора, вздымающаяся почти до потолка, она то опускалась, то поднималась, и оттуда раздавались вулканические звуки; это меня так потрясло, словно громом поразило, я еще более пристально стала всматриваться в ту сторону, в темноту, я силилась узнать в этой горе, может быть, моих родителей, но невозможно было узнать что-нибудь подобное родителям, сердце мое стучало на всю комнату и вырывалось из меня. Я стала громко кашлять, и в комнате все затихло, и через несколько минут раздался тихий шопот; я осмелилась посмотреть еще раз туда, и вижу: нет горы, лишь неясный слышу шопот; я испугалась сама своего произвольного кашля и старалась теперь лежать тихо и не дышать и даже в страхе зажмурила глаза, и вдруг совсем возле моего уха я услышала слегка дрожащее дыхание

и чувствовала на лице его тепло, я догадалась, что это была моя мама; сердце мое было, казалось, уже на полу и дрожало и прыгало в страхе и волнении, я веки еще сильнее прижала к щекам, и так я и мама некоторое мгновенье были в одном напряженном ожидании, в одном дыхании, мои ресницы дрожали, я чувствовала даже запах ее лица, оно пахло молоком и еще чем-то непонятным для меня; скорее бы она ушла, я больше, наверное, не выдержу такого обмана с моей стороны и притворства; неожиданно дыхание ее удалилось от меня и в воздухе прозвучал шопот, как шелест опавшего листа: «Спит...» — и сердце мое вернулось в покой. Я решила тихо закрыться одеялом, кончик моего одеяла был слегка порван, и дырочка эта была для меня наблюдательным пунктом надежным.

Гора так и не появлялась, я с трепетным волнением ожидала ее появления, мне хотелось снова посмотреть это и разгадать гору. Мне стало скучно ждать, я спала с моим братом младшим, и я впервые посмотрела на него странно, и появился к нему необычный интерес; он в это время крепко спал, раскинув свои крохотные ножки; мне захотелось сделать то, что, как мне казалось, делали мои родители, повторить эту гору, интересно, что бы они могли там делать под одеялом; я глубже залезла под одеяло и оказалась возле его ног, я почему-то дотронулась до странного места, которого я раньше попросту не замечала и не придавала значения, в моих пальцах чувствовались какие-то странные формы, совсем не как у меня. Я не понимала, что делали мои родители, но инстинктивно чувствовала, что есть какая-то связь между «горой» и тем, что я нащупала у своего брата, и я чувствовала к нему какое-то непонятное влечение и интерес, но также я чувствовала к нему нежность старшей сестры: ему было два года, а мне семь. Однако ничего приятного, что, как я думала, чувствуют родители, я не почувствовала, но мне показалось, что я делаю что-то нехорошее и непозволительное. Брат пошевельнулся и повернулся на бок; я подумала, какая я нехорошая, если бы мама и папа узнали об этом, то папа сильно меня побил бы ремнем.

Я под одеялом так и не поняла, как и что делали мои родители, но знала, что делали тоже что-то нехорошее, чего я еще не понимала; после этого на другой день у меня было странное чувство к ним, в особенности к маме, потому что мама ждала еще ребенка и потому была все время дома; я почувствовала, что она почему-то бывает совсем другой по утрам, чем ночью, и мне казалось, что она относится ко мне несколько фальшиво, странно улыбалась, как будто чужая тетя в доме у нас; у меня было чувство такое, что вот я очень хитрая, вы меня не знаете, а я вас знаю, я все о вас знаю, что вы нехорошие и глаза у вас нечистые, я чувствовала к ним неприязнь и подозрительность. Кажется, и мама чувствовала во мне что-то неладное и частенько исподтишка на меня поглядывала; мне не хотелось с мамой разговаривать, я все хмуро глядела на них, представляя их в ту ночь, и, вспоминая это, я ненавидела их тогда, и с каждым днем я все больше присматривалась к маме и все больше ее не любила; отца я вообще не любила никогда: он не умел со мной поговорить, поиграть, никогда меня не целовал, во всяком случае я этого не помню, он часто меня бил, как бешеный тигр на меня набрасывался, поэтому я его боялась и не любила, памятью детства остались до сих пор выпуклые борозды от ремня на ягодицах.

Как-то в комнате сломали печку и сделали на ее месте перегородку, к нам в дом провели газ, и печка стала не нужна. Перегородка была до половины комнаты, так что можно было мою кровать ставить туда, но я попросила маму, чтобы изголовье мое было в комнате, а не у стенки, у стены было как-то одиноко и слишком темно, туда уже не проникал свет соседнего дома, а главное — я не могла бы видеть постель моих родителей. Интерес к ночным сценам возрос до того, что я из-за своей перегородки потихонечку выбиралась, стояла, прижавшись к стене, и осторожно выглядывала оттуда, сильно волнуясь; от страха мне казалось, что скрип кровати такой, как будто кто-то встает из нее, и я с замиранием сердца ложилась тихо на свою кровать. Постепенно настолько обострилось это мое любопытство, что для меня

это было уже своего рода каким-то наслаждением наблюдать за родителями, притаившись хитро и вредно, как маленький зверек. Я думаю, может быть, от того, что я им так отравляла их молодость, они меня не любили; после я действительно сознательно им мешала: как только чувствовала, что наконец приближается то самое интересное и начинается, я демонстративно вставала на кухню или нарочно громко кашляла, с наслаждением радуясь тому, что внезапно все замирало; наконец, мама со злостью меня спрашивала, почему я хожу часто на кухню, почему я не сплю. «А я не хочу спать, глисты мне мешают», — говорю я с хитрецой, но тут была действительно правда, мне всегда мешали глисты, и потому были так обострены мои чувства, я была очень нервная и злая от всех этих болезней, я даже сама сознавала, что я нехорошая.

Как-то, когда мне было, может быть, лет четырнадцать, мама мне сказала, что я сегодня не пойду в школу, а пойду с ней, провожать ее в больницу, папу сегодня не отпускают с работы. Я, по правде говоря, не очень хотела идти с мамой, но в школу не хотелось идти еще больше; всю дорогу я молчала, ехали мы в автобусе, ехали на трамвае, и я все молчала; когда подходили к больнице, я сказала ей: «Мама, ты тряпка, а отца я ненавижу, у тебя нет характера, ведь я все знаю о вас, я никогда такой не буду, как ты, я не буду тряпкой! Я бы на твоем месте его прогнала, мы проживем и без него, я тебе буду во всем помогать, и на работу скоро поступлю, я же тебе помогаю продавать яблоки, огурцы и помидоры». Я уже догадывалась, зачем она пошла в больницу, еще не совсем понимала, но связывала это с ночными моими наблюдениями; и вот что мама мне сказала с грустным лицом, ее лицо было изнуренное, я неожиданно это заметила, она мне сказала: «Доченька, ты ничего еще не понимаешь, вот ты вырастешь большой и, как я, выйдешь замуж и узнаешь свою женскую долю, тогда вспомнишь меня, ведь я даже совсем не хочу, чтобы так было». Я выслушала ее, мне немного почему-то стало жаль ее, может быть потому, что она вот такая бесхарактерная, я только ответила,

что я никогда не выйду замуж, и с этими словами мы вошли в приемную больницы, мы довольно холодно поцеловались, ее повели внутрь, а я поехала домой с узлом маминых вещей в руках. Конечно, как я понимаю теперь, я была к ней несправедлива, но и мама была не совсем искренна со мной.

Чем больше я наблюдала за родителями, тем сильнее был интерес к моему брату; мы, дети, часто оставались одни дома, а родители поутру уходили на работу; помню, когда мне было уже одиннадцать лет, мы — я, моя сестра Соня, мой брат Мансур, ему было шесть лет, и самая младшая сестра Галя — вместе играли, возились на кровате, мы разделились на две группы, в моей группе был Мансур, а в Сонькиной группе Галя, и стали кидаться подушками, так что перья летели во все стороны, игра была простая: какая группа заберет все подушки, та и победит. Я с Мансуром забрали все подушки у них, нам немного надоело играть, мы решили отдохнуть, я случайно прикоснулась к моему брату, и мне очень понравилось, мне еще раз захотелось прикоснуться своими ногами к его ягодицам, было так волнующе и происходило столь не заметно ни для кого, все это было как бы продолжением наших игр; мне, наконец, захотелось сделать так, как делали мои родители, но мне уже было стыдно, Галя и Соня стали поглядывать на меня странно, как будто начали что-то понимать, я вдруг подумала, что они смогут взрослыми вспомнить это, или я боялась, что они как-то скажут родителям, и я прекратила такую игру, обещая себе, что больше этого не повторится. Галя, хотя ей было всего три года, за мной всегда слишком пристально наблюдала, за что я ее невзлюбила.

Хотя я и сознавала, что то, что я делаю, нехорошо, но все равно я возвращалась к этому, хотя меня перенесли на другую кровать, отдельно от брата, теперь я спала уже с моей сестрой Соней, и мое влечение перешло на сестру. В игре, в которой были конь и всадница, я изображала коня, а моя сестра всадницу, я лежала на кровати, посадив ее на живот, она высоко подпрыгивала к потолку, ей нравилось,

что я ее так катаю, и мне казалось это очень приятным и волновало меня.

Интересно, что чувство жгучей ревности, соединенное с ненавистью, которое я испытывала к родителям, когда они любили друг друга ночами, у меня распространилось и на другие влюбленные пары, которые я встречала на улицах, я любила украдкой наблюдать за ними, испытывая ревность и ненависть, и бессознательно я испытывала еще зависть; эти чувства успокоились у меня к пятнадцати годам, когда я первый раз влюбилась, но в какой-то степени я до сих пор испытываю чувство ревности к каждой влюбленной паре.

## ДВОР

Я хочу рассказать о нашем дворе, в котором я проводила время до шестнадцати лет. Наш дом, в котором я жила с трех лет, был построен в 1830 году помещиком Волковым, в этом доме была его прачечная, бани, а также жили его люди. А потом помещиков не стало, а когда советская власть настала, из бань, прачечной и других служб сделали килые комнаты, вселили разных людей, двор зарос травой выше человеческого роста, мне рассказывали, что во времена нэпа туда прятались бандиты от преследователей и было укрытие для проституток. Жильцов вселили в основном приезжих, как и мы, только мы позже приехали, все они из разных деревень и провинциальных городков.

Двор очень большой, и по всем четырем сторонам расположены длинные скамеечки, на которых, как я помню, всегда сидели женщины и рассматривали, кто к кому идет, и это тщательно обсуждалось, кто в чем и зачем, всегда они при этом щелкали семечки, даже дети не проходили мимо их глаз; большей частью эти женщины торговали чем придется, фруктами, овощами, а потом некоторые очень любили устраивать сабантуи, и орали визгливыми голосами свои народные песни. В конце двора стоял большой стол для игроков в карты, в лото, в домино. По вечерам летом собиралась молодежь, играли на аккордеоне, пели песни, чаще всего «Журавлей» Петра Лещенко, еще пели песню «Под городом Горьким, где ясные зорьки» и другие. Играл на аккордеоне единственный музыкант на весь двор — молодой китаец, может быть, его родители работали в прачечной в годы нэпа, но родителей его я никогда не видела; китаец имел хороший слух и пел очень хорошо, и потому все любили его слушать, он был красивый, не характерно

для китайца высокого роста, очень стройный, с правильными чертами лица и выраженными китайскими глазами с чуть припухлыми веками; после он женился на красивой светловолосой женщине. К китайцу относились очень дружелюбно во дворе, да и он сам держался среди русских вполне русским, он говорил без всякого акцента, раз он родился в Москве; к нему относились, как к русскому человеку.

Я любила наблюдать за молодой парой, которая жила над нами, на третьем этаже, у них были необычные для нашего двора имена, они часто ссорились, и то и дело раздавались драматические выкрики: «Альфред!» или: «Тамара!» Тамара кричала, ударяя Альфреда по щекам: «Я уйду от тебя, Альфред!» Она бежала от него, а он кричал ей: «Вернись, Тамара!» Она продолжала бежать и звать на помощь, угрожая ему милицией, а он кричал на нее: «Сука! Проститутка!» — размахивая кулаками и хватая ее за горло; изо всех окон высовывались любопытные. Оба они казались мне очень красивыми, он высокого роста, худощавый брюнет, она блондинка с вьющимися волосами и стройной фигурой; несмотря на то, что они часто ругались и дрались, мне кажется, они любили друг друга. Меня волновали такие драматические сцены, я даже немножко ревновала Альфреда к Тамаре, мне хотелось также, чтобы за мной кто-то бегал и кричал: «Вернись, Гюзель!»

Почему-то меня во дворе все звали Розой, хотя меня дома называли другим именем, татарским, а не русским; кто меня окрестил русским именем, мне до сих пор не понятно; мое татарское имя Гюзель в переводе на русский язык означает «красивая, прекрасная». Раньше я совершенно не понимала своего имени и не знала, что оно может быть красивым, наоборот, я даже стеснялась этого имени, обычно татарские имена оканчиваются на гласную, а мое — на мягкий знак, потому мне казалось, что оно слишком пышное и долгое, потому я с легкостью приняла русское имя-прозвище; а татарское имя мне дала моя бабушка по отцовской линии. Еще было у меня прозвище «килька»: лет пять мне было, в голодное время кто-то из моих сверстников дал мне из помойки сухую кильку,

я взяла с жадностью и съела, а ребята с девчонками засмеялись, с того времени у меня и осталось такое прозвище неприятное; это слово похоже на татарское «киль», что значит «иди». «Килька, киль манда!» — «Килька, иди сюда!» «Мэнда» русские произносят с двумя «а», и тогда получается неприличное слово.

Особенно любил меня дразнить мой сосед Славка, хромой, но не со злостью, а потому что все дразнят, он относился с некоторым дружелюбием ко мне, может быть наша общая уродливость об'единяла нас: я кривоногая, он хромой; он также меня дразнил «таталькой», он не произносил «р», а я его называла «хромой рубль», так его тоже все звали, почему, я не знаю, может быть, он просил у кинотеатра рубль, так часто делают дети, чтобы как-то попасть в кино, родители денег не дают. Помню, как-то услыхав по радио интересное слово, как мне казалось, «критика-самокритика», я побежала с этим страшно мне понравившемся словом во двор, увидела этого самого Славку-хромого и, высунув язык, сказала: «Ты, рубль, критика-самокритика, критика-самокритика!» — бегаю вокруг него и спрашиваю его: «А ты знаешь это слово?» А он окрысился и стал приставать ко мне, чтобы я сказала, что это за слово, а я не знала сама, но с видом знатока отбежала в сторону и снова повторяла, как попка, это умное слово, я любила повторять понравившиеся слова.

Еще у нас во дворе было смешное прозвище «мокрица» (это такие насекомые, которые водятся только в сырых местах, в подвалах), этим прозвищем называли одного мальчика, тоже Славу и тоже моего ровесника, он жил в этом же доме, только в глубоком подвале, глубина его доходила до четырех метров. Один страшный эпизод связан с этим «мокрицей», я помню его во всех деталях: в подвале водились не только мокрицы, но и здоровенные крысы, я гуляла недалеко от подвала, вдруг слышу оттуда страшный крик, подхожу туда и вижу растерянного Славу-«мокрицу», который весь трясется от страха; оказывается, на него, когда он спал, напали крысы, его мама была на работе, а отца у него не было, он был один с воинственными крысами, он отчаянно боролся

с ними, собралась толпа, услышавшая его крик, он, искусанный, с обгрызанным крысами ухом, заплаканный и орущий, просит помощ, наконец кто-то принес лестницу, спустился туда и взял его наверх, дверь в его комнату была заперта.

Этот Славка, помню, всегда за мной гонялся с мертвой крысой, взяв ее за хвост и кидая в меня, страшно меня пугая этим: я прямо-таки тряслась, когда его увижу с его крысой мертвой. И как он их так мог держить, я и мышей ужасно боялась, они у нас почему-то каждый день на подоконнике лежали мертвые, вероятно, подбрасывали ребята. Как-то на подоконнике мы нашли кошелек, кто-то туда справил свою нужду, специально для этого случая взобрался на второй этаж по выступам, а потом ждал, когда мы все встанем; как раз было воскресенье, отец подошел к открытому окну и увидел кошелек, которому он удивился и обрадовался, он в нетерпении открыл и ахнул и заматерился — он влип в жидкую гадость, хор диких ребят неистово гоготал во дворе, это был для них триумф. Отец мой вообще воевал во дворе с ребятами, они кричали под окнами и били стекла, а он, я помню, однажды побежал за ними с топором в одних подштанниках; но не догнал никого.

Однажды я утром увидела на подоконнике белую мышку, она мне очень понравилась, и я ее не испугалась ничуть, но она оказалась мертвой, а то бы я ее воспитывала, ухаживала бы за ней, в коробочку бы уложила, так я думала, будучи маленькой, кукол у меня не было тогда, эта маленькая белая мышка заменила бы мне куклу. Но кукол не было, и я во дворе играла в песочек, делала из песка пирамиды, туннели, гаражи, лепила маленьких человечков, делала для них пироги и разные другие блюда. А то мы играли в следующую игру: собираем красивые стекляшечки и тайно от других я и еще какая-нибудь девочка прячем в различных местах нашего двора, зарывал в ямку; как-нибудь случайно мы снова оказываемся около этих забытых ямок, засыпанных землей, и специально ищем наши клады, и постепенно разрываем наш таинственный клад, как мы его назы-

вали; у нас при этом был восторг и радостное замирание, словно у археологов, нашедших исчезнувшую цивилизацию.

Как-то среди ребят появился новый мальчик, красивый, с черными густыми кудрями, звали его Женькой, он довольно быстро освоился в нашем дворе и даже стал заводилой всех ребят, ну и забиякой же он был, прозвище ему тоже быстро закрепили, прозвали его «кучером», почему, я и сама не знаю, кучер да кучер, а он не обижался, но и спуску никому не давал, он быстро узнал, у кого какие прозвища, и давай ими орудовать направо и налево; из всех прозвищ особенно ему было по вкусу мое, он обзывал меня, прямо-таки облизываясь, до того ему нравились мои прозвища «Килька» и «татарка», он страшно корчился, извивался передо мной и плевался; но помню, несмотря на его издевательства, я думала: вот если бы он не был таким забиякой, я бы в него влюбилась; но мы не употребляли слово «влюбилась» во дворе, мы говорили «вчекалась», дворовое слово. Этот кучер-Женька жил у нас недолго, он исчез так же неожиданно, как и появился: однажды во дворе произошел страшный шум, я была на площадке третьего этажа и все видела, какая-то странного вида женщина со всколоченными волосами истерически орала на кого-то, то и дело судорожно прижимая к себе этого Женьку, он ничего не мог понять в это время, удивленно хлопал глазами, он даже не знал эту странную женщину, которая хватала его своими цепкими руками, изо рта слюни текли у нее, на губах пена, она была похожа немного на цыганку, с кудрявыми черными волосами и высокого роста, только цвет лица был очень белый. Я знала, что мать его была совсем другая, ее звали Раей, с начесанными наперед волосами и кукольно-накрашенными ресницами, у него еще была бабушка-помойщица, она собирала из помойки разные тряпки, бумагу и потом сдавала в утиль, она денно и нощно ковырялась в помойке, однажды в темноте я не заметила ее согнувшуюся над помойкой фигуру и на нее мусор высыпала, сколько было криков и оскорблений: и татарка, и такая, и сякая, размахивая перед моим носом во-

ючей тряпкой; от нее всегда пахло тухлятиной, не знаю, как терпела ее накрашенная дочь со своим Женькой. Я отклонилась чуть-чуть в сторону, я говорила о странной женщине; эта женщина очень долго ругалась с Раей, значит Женька был яблоком раздора двух женщин, претендующих на него, а он, по-прежнему ничего не понимая, хлопал глазами. Женщина была страшная в своем гневе, уже собралась большая толпа слушать эту сцену, кто-то говорил такое: «Уж куда тебе воспитывать ребенка, сумасшедшая, ты ребенка своего убьешь и с ума сведешь». Она снова берет безучастного Женьку на руки, такого большого, и безумно целует и спрашивает его: «Ты любишь меня, ведь правда? Со мной пойдешь, правда?» И завыла, и горячими слезами облилась, а потом отрвалась от него и начала на Райку ругаться матерно. Я решительно до сих пор не понимаю, кто из них был настоящей матерью, а кто мнимой; так эта женщина и увела его, ничего не понимавшего, что происходит вокруг, видимо, она все же была матерью. Так и исчез этот Женька, он мог бы стать хорошим парнем, так мне тогда казалось.

Очень часто приходили к нам табором цыгане, тогда очень их все боялись, говорили, что они воруют детей; мне было всегда удивительно, как это они воруют детей, когда у них самих куча большая детей; потом были слухи, будто цыгане пьют кровь маленьких детей, потому что она, эта кровь, дескать вкусная очень; но я помню о них, что они просто приходили часто погадать, с разными своими фокусами, и выманивали у наивных людей побольше денег; если у кого что плохо лежит, это обязательно будет похищено цыганятами.

Я раньше очень боялась цыган, меня пугали всеми этими страшными рассказами о них, о них мне всегда рассказывала, вероятно со слов своих родителей, моя подруга Надя, это была единственная подруга, которая обращалась со мной довольно неплохо, эта Надя, с синими глазами и большими, как у коровы, ресницами, совершенно прямыми, как палки. После нее у меня уже начали появляться и другие подруги, конечно же, я была на последнем месте в играх, автори-

тета никакого не было у меня, но все-таки они меня принимали в свою компанию для игр, а игры были разные у нас. Нас собиралось очень много, человек двадцать, и долго играли в какую-нибудь игру, например в прятки, прятались по разным дворам, каждый кон очень идет долго, потому всегда боишься, когда обнаружат тебя самой последней: кого последнего найдут, тот и водит, ищет всех попрятавшихся кто куда; пока всех найдешь, пройдет целый час, иногда дело доходило до слез, до изнеможения, иногда мне надоедало искать, и я потихоньку удирала домой, потом меня заставляли снова искать на другой день; это утомительная игра, но интересная, прятались по каким-то чужим дворам, по хитрым лазейкам, по чердакам и разным подвалам глубоким, куда не проникал свет дневной и электрического света не бывало днем, едва мерцает дневной свет в начале коридора у входа; как все там жили жильцы — они уподоблялись крысам подвальным? Еще была игра у нас в круговую лапту, так же собиралось много человек, такая игра занимала почти весь большой двор, в двух коцах двора прочерчивались линии на всю ширину двора, за каждой линией стояло по человеку, на двоих был один мяч, остальные вставали посредине, эти двое старались мячом попасть в кого-нибудь внутри линий, кого они выбивали, тот становился на их место, и так без конца продолжалась наша игра. Много у нас было игр, перечислить их просто невозможно, это можно составить специальную книгу о детских играх пятидесятых годов.

## ЗВЕЗДНОЕ НЕБО

Я любила играть вдвоем с девочкой из соседнего дома, ее звали Таней; я не помню, как мы с ней подружились, может быть, во время игр; она мне нравилась, была очень красивая девочка с голубыми глазами и бровями, красивыми, словно прочерченные дуги, с густыми каштановыми волосами, с румянцем на щеках и сочными губами. Она держалась со мной на равную ногу и этим меня покорила, я любила к ней приходить, у нее родители всегда на работе, и мы могли делать, что хотели. У нее еще был маленький брат, которого она себе деспотически подчинила, всегда его тузила, но он был в самом деле противный, всегда канючил, на нее ябедничал, у него были огромные уши, как у осла; Таня за все его шалости и ябедничанье таскала его за уши, мы его отправляли во двор и сами одни играли.

Мы очень любили играть в больницу, у нас были разные так называемые медицинские инструменты: маленькая лопаточка стеклянная, мензурка, пипетка для носовых капель, использовалось ученическое перо для процарапывания кожи; мы делали себе им «уколы» в разные места, а потом забинтовывали. Мы играли еще в родильный дом. Однажды я сказала таинственно ей: «А знаешь, Таня, я узнала, откуда берутся дети, мне мама сказала, если возьмешь под руку мужчину, тогда будут дети, а я не поверила, и тетя мне одна сказала, что дети берутся на базаре за деньги, вот вырастешь любого себе выбрать, я поверила ей и сказала, что обязательно куплю себе красивую девочку, буду ей шить разные платья красивые, — и закрыла мечтательно глаза, — знаешь, Таня, а как по-твоему, откуда берутся дети?» Она засмеялась и сказала мне авторитетным тоном, с видом старшей: «Ха, я лучше знаю, откуда берутся

дети, папа и мама спят вместе, целуются, обнимаются, а потом у мамы вздувается живот, и папа ее везет в родилку, и там распарывают ей живот и вынимают оттуда ребенка. Давай будем и мы играть в родильный дом, сначала я буду делать операцию, ты будешь лежать, а потом ты будешь врачом, а я буду лежать». Она мне велела раздеться догола, и я легла, было почему-то холодно, как в больнице; она сделала мне в лобок укол пером, спросила, больно ли мне, смазала валерьяновыми каплями, йода не было, достала откуда-то длинный пинцет и тихо провела мне вдоль живота, понарошке, конечно, а потом приступила к основному — выниманию ребенка, как будто вытащила из живота подготовленную куклу, быстро завернула ее и начала, как младенцы, мяукать; и тут же превратилась я в ребенка, она в маму, я начала тоже мяукать, подражая Тане, началась игра в дочки-матери, она меня кормила из соски, соску заменяла пипетка, укладывала спать, а сама шла якобы на кухню готовить; потом как будто пришел папа, и мама беседовала с ним, говорила, что я плохо ем, все получалось очень реалистично, нам нравилось так играть. Затем мы менялись ролями, и начиналось снова с больницы.

Потом мы подсматривали, как к Таниной старой соседке накрашенной — она была похожа на старую и себя поддерживающую актрису небольшой высоты, жила одна — придет ее мужчина, она усиленно румянилась перед тем, в коридорчике возле кухни стояла большая корзина с пустыми баночками из под кремов; наконец звонок, идет встречать надушенная соседка, и входит Танин брат; она со свирепым лицом идет к себе, она ни с кем в квартире не разговаривала и всегда ходила с гордо закинутой головой, поджав крашеные и надменные губы; и когда ее возлюбленный, наконец, приходил, мы через некоторое время, пока она его будет потчевать разными сладостями и винами, подходим к ее двери на цыпочках без обуви и по очереди прижимаемся к скважине; иногда получалось, что мы прыскали в самую скважину, тут же мы также на цыпочках исчезаем в Танькиной комнате.

В зимние вечера я очень любила кататься на санках, я каталась или одна с горы, или все вместе, или я с подругой моей по дому Надей катали друг друга по очереди, я всегда любила ложиться на санки на спину и смотреть на небо, иногда, бывает небо все в звездах разной величины; когда я так лежала, мне казалось, что небо было бесконечной глубины и что я лечу по небу и могу достать любую звездочку, у меня голова кружилась от такого удовольствия, и я падала с санок на снег, я просила еще, еще чтобы катала меня, но уговор есть уговор, и я должна катать ее. Однажды я так лежала на санках и меня катала Надя, как неожиданно небо звездное заслонила черная и зловещая фигура Женьки-«самосада» в сапогах, парня с нашего двора; увидев, что я лежу на санках, двинул меня сапогом в нос, вывалил из санок, обругал впридачу, назвав меня татаркой, и запретил Наде меня катать. «А если увижу, — добавил он, — то и тебе дам в морду». Сказав так, он спокойно удалился, ударяя сапогом в булыжник. У меня из носа потекла обильная кровь, из глаз посыпались искры, я еще не могла заплакать, я впала в минутное бессознание, но потом, когда пригнулась ко мне Надя и спросила меня, больно ли мне, я тут не выдержала и заплакала от острой обиды и боли, у меня сжимались руки в кулаки, но при этом я чувствовала свое бессилие перед этим верзилой, да еще русским, даже если сказать его матери, ему ничего не будет. Я пошла домой, и мама испугалась, меня увидев, я рассказала, что было, и мама отправилась к его матери, но мать его только выслушала спокойно и, повидимому, ничего не сделала ему, никакого наказания, потому что он все равно продолжал меня бить, плевать в лицо и называть татаркой, но я его тоже называла, вроде того, что он «самосад», я думала, что это прозвище обидное, называла его русским, он еще больше распалялся. Был он старше меня года на четыре, очень большой, но тупой, впоследствии попал в психбольницу.

У меня было много обидчиков, еще был один враг, мой сосед Вовка по прозвищу «зверь», их дверь была рядом с нашей, при встрече он всегда плевался в

меня, и всегда это надоевшее слово «татарка», морда у него была самая подлая, по отношению ко мне он всегда себя вел агрессивно, но с ребятами он держался, поджав хвост, он был трусливый; однажды он присел около меня с маленьким топориком и хитрым лицом, он меня стал сталкивать со скамеечки, а потом надоело ему со мной возиться, и он стал топориком своим незаметно крошить мое платье; когда я встала, на мне уже половины не было, я горько заплакала и пошла домой, а другого не было, я пришла домой вся в обрезках болтающихся.

Была в нашем дворе одна девочка по прозвищу «чичира», откуда такое прозвище, я не знаю, она была стирше меня лет на пять, она была очень противной и злой, всегда со всеми дралась, была к тому же очень некрасивая, мы друг друга не любили, она любила надо мной всегда поиздеваться, это она еще давно дала мне хлеб с известкой из мусора. Однажды мы с ней случайно вместе очутились в общей уборной, которая находилась на первом этаже; уборная эта с цементным полом, у стены каменные выступающие из пола площадки, и на них распределено несколько отверстий кажется четыре было, и все они были заполнены нечистотами, и все это лилось через край, всегда засорялось, иногда нечистотами заливало даже коридор, а слесарь бывал очень редко, да даже если бывал слесарь, то тут же снова засор, потому что никто не спускал воду за собой; стены грязные, на них всегда были видны следы от пальцев тех, кто не пользовался бумагой, а подтирался рукой, а потом руку вытирал о стену. Так вот, к моему несчастью, мне пришлось там встретиться с этой «чичирой»; она уже была там, но мне было уже поздно отступать, раз перешагнула порог, села я как раз около нее, там, где не было затоплено, она не стерпела такого со мной соседства, стала меня дразнить «татаркой», я ей, замирая от страха, тоже отвечаю: «А чичи-ра...» Она еще пуще не стерпела и толкнула меня в почти затопленное отверстие, я провалилась туда чуть ли не по уши, только ноги кверху, я еле-еле при помощи рук вытащила свое тело, и с платья потекли, побежали всякие гадости, этого я никогда

не забуду; я не помню, что было потом с ней, вероятно, ничего не было; я пришла домой в жалком положении, мамы не было дома, и я, трясясь от обиды, все сняла с себя и ревела долго. Все обиды доставались мне от старших, ровеснику или ровеснице я бы, может быть, отплатила тем же, а так я чувствовала только свое собственное бессилие.

## ШКОЛА

Завтра в школу, все есть для школы, кроме белого фартука, в предпоследний день чья-то мама дала мне белый передник, моя мама не смогла купить, и цветов не было подарить своей учительнице; в канун этого дня я думала о школе, о том, как встречусь с другими девочками, какие будут девочки, какая будет учительница и как она ко мне отнесется, и думала: скорее бы завтра, а уснуть никак не хотелось, я слишком волновалась перед завтрашним утром. Я думала еще, скоро у моей мамы будет ребенок, интересно кто, девочка или мальчик.

Но вот и утро, я проснулась сама от маминых стонов, и она вдруг сказала, что я в школу сегодня не пойду, а пойду с ней в больницу; я вся сникла, столько волнений, радостных ожиданий, и вот тебе сюрприз, я даже не нашлась, что ответить ей; я оделась в прежнее платье, и мы пошли. Она взяла еще с собой в провожатые молодую девушку Лиду, толстую и приплюснутую, она с пятнадцати лет уже няня, родителей у нее вовсе нет, а брат попался за воровство и сидел в тюрьме, так она одна кормила себя чем придется, или кто-то ее подкармливал, у кого она работала няней. И вот мы втроем пошли в такое хорошее утро, солнышко светило, было еще тепло, лишь желтые листья кружились над нами хороводом, и легкий утренний туман расходился; навстречу нам уже попадались девочки в белых фартуках, с цветами в руках, и мальчики в своих новых костюмах с подтянутыми ремешками.

Мама хотела пойти в больницу им. Грауэрмана, недалеко от нас, она находилась недалеко от бывшей Собачьей площадки, сейчас дома там все снесли, только больницу оставили; маме все тяжелее и тяжелее становилось, она уже то и дело останавливалась,

осталось совсем не долго, метрах в пятидесяти от этой больницы она уже не выдержала, Лида повела ее к какому-то подъезду, и мама в подъезде родила, забившись в дальний угол; Лиде велела меня отогнать подальше, сама подстелила вовремя свою плюшевую куртку, она мягкая. Я в волнении забегала, с Лидой пошли быстро искать людей на помощь, позвали какую-то соседку из этого дома, та очень этого сама испугалась, в растерянности побежала к другой, пока не сообразили позвонить по телефону и вызвать машину скорой помощи, хотя мы были в пятидесяти метрах от больницы; наконец приехала карета скорой помощи из дальнего района, мы ехали долго через всю Москву, сотрясая больную, стонущую маму, ребенка держал молодой врач, мама даже успела рассматреть, что это была девочка; ее назвали Халидой, а по-русски ее называли Галей.

Так и прошел день, прошло утро первого дня школы, и на душе было немного досадно, что так я и не почувствовала этот день, а когда на второй день пошла в школу, то все в этом классе уже знали примерно друг друга, а я вошла как чужая и никому не нужная и нежданная, я и пришла уже после звонка, когда все уже сидели за партами; хотя в журнале я и числилась, но учительница строго спросила мою фамилию, да несколько раз переспрашивала, вероятно я очень тихо говорила и была немного испугана многочисленностью нашего класса, смотревшего на меня восьмьюдесятью парами глаз; но, оказывается, не только я была последняя ученица, еще несколько девочек пришли после меня, может болели, может просто недавно приехали. Учительница оказалась, как я и думала, молодая, у нее было сухое, твердое до аскетичности лицо, мне трудно сказать, была ли она красивая или нет, сейчас мне бы такие сухие типично учительские лица не понравились, хотя у нее была стройная фигура, в красивом темносинем и облегающем в талии платье, слегка приклешенном книзу, волосы она причесывала со всей тщательностью, часть волос она начесывала почти на самый лоб, а остальная часть пышным хвостом свисала до плеч, так раньше многие причесывались, был общий стиль.

Учительница, можно сказать, мне не понравилась, я вообще учителей боялась, как боялась, еще будучи совсем маленькой, женщину до потолка в темном подвале, так и учителей боялась, как пугал, и ничего человеческого не видела в них, и потому с первого класса мне уже хотелось идти домой из школы, я всегда с удовольствием ожидала звонка. На перемене я могла бы отдохнуть от власти учительского окаменелого лица, но на перемене тоже не отдохнешь, всех водили парами по кругу в зале, а учительница в это время разговаривала с другими учительницами и время от времени строго поглядывала на нас, как мы идем, нужно было идти спокойно, размеренным шагом, хорошо хоть, что можно было разговаривать друг с другом, но не громко; если какая-нибудь пара плохо себя ведет, то их раз'единяют, меняют пары, и надувшиеся, чуждые друг другу эти девочки парой идут по кругу. Некоторые оставались в классе со своими завтраками, принесенными из дома, например, яблоками, бутербродами, и степенно за партами ели, а у меня не было завтрака, я почти голодная ходила в школу, я с завистью смотрела на соседок, как они едят свои завтраки; иногда те, кто уже не хотел есть, по подсказке учительницы делились со мной; я всегда ходила без завтрака, а некоторые девочки из богатых семей накалывали яблоки пером, острым концом, вытаскивали из дырочек яблочные колышки и другим концом вставляли туда же в эти дырочки, и таким образом получался из яблока игольчатый еж, а мне хотелось есть, я смотрела на это и чуть не плакала.

На уроке я плохо слушала учительницу, часто вообще не слышала и потому делала совсем не то, что нужно, и писала не так, я впадала в какую-то мечтательность, мечты мои были такими: вот хорошо бы папа сегодня сварил суп, скорее бы мама пришла из больницы, папа сказал, что сегодня поеду одна в больницу и повезу гостинцы, и я заодно поем, папа ведь даст мне что-нибудь, я хочу посмотреть свою сестру, папа сказал, что она очень красивая, теперь у меня две сестры и один брат, теперь я большая и могу помогать маме мыть маленькую сестрен-

ку, она будет моей куклой живой. И вдруг сзади учительница ко мне подходит и пригибает мою голову к парте и жестоким голосом, в котором не было совсем человеческого, тряся мою несчастную голову, приговаривала: «Что мне с тобой делать? О чем думаешь? Почему не пишешь? Смотри на доску и потом пиши! Ты хочешь быть наказанной?! Вышвырну за дверь, если еще увижу, что ты зеваешь за партой!»» Я не люблю вас, подумала я, мне хочется домой, я не хочу учиться.

В третьей четверти моя учительница, окончательно решив, что я не способна ничего воспринять, задумала от меня отделаться — ведь в классе у нее было еще более сорока девочек, некогда каждой специально объяснять и наблюдать за ней — и решила сплавить меня во вспомогательную школу для умственно отсталых детей. Она дала мне большой конверт с письмом к директору этой школы, и я отправилась туда, сама не подозревая, что я несу себе приговор в конверте, так как учиться во вспомогательной школе считалось большим позором. Директор, когда меня увидел, поговорил со мной, очень внимательно расспросил меня и сказал, что мне здесь не место, что мне надо возвращаться в ту школу, где я учусь, и продолжать учиться, а здесь учатся только ненормальные. «Вот погляди», — и он указал мне на мальчика со странным идиотским лицом и маленькими глазками, теперь я думаю, что этот мальчик страдал болезнью Дауна. Так я вернулась в свою школу к неудовольствию моей учительницы.

Она всегда меня выставляла напоказ, когда у меня бывали все лицо и руки в чернилах; еще ничего не написав, я не только лицо и руки, но и волосы как-то умудрялась испачкать; вид у меня самый неряшливый был, нечесанная, волосы короткие, но всегда растрепанные, чулки всегда спущенные, ботинки незашнурованные, уши грязные; я всегда подводила наше звено, по нашему ряду ходила выбранная девочка-санитарка, и она проверяла у всех каждое утро руки и уши, всегда она на меня жаловалась учительнице, а учительница угрожающе смотрела на меня, мол, опять я, все я, и добавляла, чтобы завтра

приходила уже чистая, а то пошлет домой. Еще у нас была ответственная по нашему ряду — в каждом ряду выбирают таких, которые хорошо учатся, — и каждый день перед началом занятий она смотрела тетради в нашем ряду и потом докладывала, кто плохо сделал, а кто совсем не сделал; я чаще всего была среди последних.

Я помню, что я очень любила чистописание, буквы я очень быстро научилась выводить и даже очень красиво, что сама я любовалась своими буквами, писала так старательно, что при этом незаметно для себя высовывала язык. Учительница меня всегда хвалила и показывала всем, как я пишу, я так овладела своим почерком, что мне казалось, что я пишу лучше учительницы, в своем старании я доходила до того, что мне уже хотелось писать по-взрослому, но только за это мне понижала отметки, потому что взрослые пишут кое-как, не считаясь особенно с законами чистописания; учительница уже часто делала мне поправки, потому что мои буквы получались то чуть выше указанной линейки, то ниже, но потом я стала писать по-старому, старательно выводя буквы, превращая их в слова и в предложения, интересно получалось. Я вообще любила писать, меня хоть хлебом не корми; в классе третьем я очень любила писать диктанты, любила ловить слова и раскладывать их на бумаге, я старалась писать скорее всех, напишу предложение и с шумом ставлю перо, ожидая, пока все не напишут и учительница не скажет новое предложение; я писала почти без ошибок, видимо, у меня хорошая зрительная память, и помнила, как пишется каждое слово; диктант был мой страстью, у меня часто за диктанты были пятерки, четверки; очень интересно, что художник Анатолий Зверев пишет, что страстно любил писать диктанты и любил чистописание. А арифметику я ненавидела почему-то и получала двойки и тройки, иногда даже единицы; мне трудно было понимать смысл задач; когда мне надоедало разгадывать смысл, то я пробовала просто бессмысленно, видя цифры, что-то с ними делать; учительница за голову хваталась, как я так

умудрялась с цифрами поступать, и ставила в злости огромные колы, все перечеркивала.

Вообще мне было трудно приобщиться ко всему русскому, без всякой подготовки; я решила окончательно порвать с татарским языком, во-первых, он мне мешал учиться, а во-вторых, я просто не любила своего татарского языка, он мне казался некрасивым, базарным, может быть потому, что я не знала литературного татарского языка; в семье я стала говорить только по-русски, и получалось еще нелепее, родители мне говорят по-татарски, я им отвечаю по-русски. Я в семье самая старшая, и всем детям моложе меня я подавала пример, хоть и плохой, быть может, и маленькие брат и сестры также за мной отвечали родителям по-русски, они вообще быстрее меня ассимилировались здесь. Хотя я и отказалась от татарского языка, я продолжала ненавидеть русских, за их ненавистничество, вредность; хорошо и образно мама говорила про русских, что у них нет лица, по-татарски это гораздо образнее получалось. И правда, у них нет лица, и как мне казалось, нет человеческого в лицах, нет улыбки, на лицах нет уюта что ли, все лица бесцветные, я это быстро различила, в отличие от мусульман, может быть потому, что потеряли Бога и уже нет на лицах сияния его. Мама и папа всегда меня учили, чтобы подальше держаться от них, от безбожников, как они говорили. И в этом смысле у меня перед русскими была отчужденность и чувство собственного достоинства, от их ненависти я все больше замыкалась в себе и среди сверстников держалась в стороне, я тяжело и с трудом привыкала к ним, в школе у меня не было подруг, а во дворе были, но и то будто из милости они со мной играли, чувствовалась граница, они русские, а я татарка, как для американцев черные люди.

Однажды моя учительница вдруг об'явила, что нескольких учениц по длинному списку будут кормить в буфете бесплатно, и раздала какие-то талоны на бесплатный завтрак, дали и мне талон; нас было, кажется, около пяти человек из всего класса, и нас на большой перемене повели вниз по темным лестницам, где едва светила тусклая лампа, а лестница была

узкая, мы вошли в такое же несветлое помещение, на столах уже стояло несколько стаканов с молоком; мы подошли с этими карточными талонами, где стояла подпись директора, и показываем буфетчице тете Нюре, и она распределила нас, кого куда и где рассадить; подавали в тарелочках винегрет; пока по спискам считали количество стаканов с молоком и тарелок с винегретом, одна ученица, голодная и возбужденная, в нетерпении нечаянно своими нарукавниками смела целых два стакана молока, у нее были чрезмерно широкие нарукавники, вероятно, ее мама не поскупилась на материал, чтобы только не рвалась форма. Нас, таких голодных, набралось довольно много из разных классов, у всех был вид действительно жалкий, худые, желтые, совсем прозрачные голубоватые лица, мы были действительно такими голодными, что сами не заметили, как быстро все поглотили, я бы еще несколько таких порций с'ела; на другой день мы уже смело шли туда и даже бежали, опережая учительницу, толкая друг друга, устремлялись в буфет, падая, спотыкаясь у острого порога, в особенности я падала, меня часто сшибали более проворные девочки, хотя я тоже скорее спешила, чтобы успеть с'есть до звонка на урок; нас кормили примерно год, а потом почему-то отменили, может быть это показалось слишком дорого для государства, не знаю, но мне было очень жалко, что прекратили.

Среди маленьких детей уже чувствовалась классовая лестница, богатые девочки дружили только с богатыми девочками, а на бедных смотрели с презрением, также и учителя больше обращали внимания на детей из богатых семей и были с ними приветливее.

Однажды родительский комитет собрали на собрание и говорили о том, что надо как-то помочь детям, тяжело живущим; у кого что найдется из лишних одежд, обуви, надо отдать этим нуждающимся детям. «Вот, например, — учительница назвала мою фамилию, — ей совсем не в чем ходить в школу». У меня действительно не было ничего, ботинки на мне совсем развалились, и торчали из ботинок паль-

цы, а потом по дороге в школу у меня совсем отвалились подметки, оставался только один верх, я совсем ботинки сняла и пошла в школу босиком; помню, в школе все удивились; я учительнице все рассказала, и она спросила, у кого есть лишние ботинки, не новые, но и не рваные; чей-то подхалимный голос послышался, что может она принести ботинки, только спросит у мамы сначала; эта девочка, отличница, всегда рвалась вперед, подхалимничала перед учительницей, и было в этом что-то неприятное. Наконец, она мне принесла ботинки, но я чувствовала большую неловкость: при всем классе я надеваю чужие ботинки, все смотрели на меня. Однажды мне принесли в класс шубку, рыкую в тигриных пятнах, правда, не новую, с некоторой потертостью, но она мне очень понравилась, я была просто счастлива, я вообще даже не мечтала о такой шубе, у меня вообще не было ничего теплого; если бы не шуба, пришлось бы зимовать без пальто зимнего, я и так без конца болела ангиной.

Был у нас в школе учитель пения, он был довольно старый и был похож на ученого или философа, с длинными волосами, с большими и внимательными глазами, всегда ходил он в темносером костюме, на уроках нас страшно веселил, делал нам рожи критикуя и дразня плохого ученика, все смеялись; он, когда говорил, немного заикался, но пел старательно, вполне хорошо и нас учил хорошо, только никто его почему-то не слушал. К пению у нас относились слегка пренебрежительно, и урок пения для всех считался какой-то забавой, можно похулиганить, посмеяться, только я одна почему-то принимала своего учителя всерьез, старательно пела нотную гамму, всегда первая отвечала на музыкальные вопросы и пела с большим удовольствием, хотя песни были всегда одинаковы и не очень интересны. Помню, мы всегда пели песню о Сталине, потом пели «Сталин и Мао слушают нас», кажется, название песни «Москва-Пекин», еще были песни «Мы за мир», «Нам песня строить и жить помогает», «Край родной, навек любимый». На урок пения нас водили строем, зал, в котором проходил урок, был выше эта-

жом, мы, приближаясь уже к двери зала, слышали, как учитель играет патриотический марш, он всегда играл марш, а мы всегда должны были маршировать к своим местам. Когда мальчики стали с нами учиться, стало гораздо оживленнее, они хитры были на разные выдумки, шутки, помню, когда мы пели какие-нибудь патриотические песни, мальчики всегда перевирали слова, например, вместо: «Спасибо, товарищ Сталин...» — некоторые мальчики пели: «Посикай, товарищ Сталин...» — и всякие другие шутки вроде этой. Пели на все лады, нестройно, кто пел, кто на уроке пукал, кто мычал, а кто и вовсе молчал под нестройный хор под руководством такого славного нашего и смешного учителя. Вообще у нас как урок пения, так сущая анархия, кто что хотел, то и делал; иногда удавалось нашему учителю относительно, конечно, наладить хор, как вдруг неожиданно всё замолкает, рояль умирает, и учитель, а за ним и все поющие смотрят на нескольких учеников, которые, воспользовавшись серьезным пением, стали запускать бумажные самолетики; учитель, то ли в гневе, то ли изображая гнев, долго сначала смотрел и любовался, как они, не замечая его взгляда, еще запустили, а потом кто-то из них, уже заметив, глазом дал знак, и все трое покраснели до ушей; учитель раздельно по слогам произнес: «Сейчас же выйдите вон!» Конечно, он был, вероятно, вне себя от такого невнимания к нему.

От уроков пения у меня остались хорошие воспоминания. Жаль, что потом его наша директриса уволила за веселый нрав и за пьянство, иногда он приходил пьяным на занятия, он был одним из лучших учителей, чудаковатый; когда его встречаешь случайно в коридоре, то он всегда под нос музицировал, и странно на тебя посмотрит, будто напугать хочет, это его была такая манера с учениками.

А потом пришла новая учительница, она всегда нас учила лирическим песням, например «В лесу родилась елочка, в лесу она росла...», еще пели про зимнюю дорогу и русскую зиму. Сама она была сентиментального типа молодая женщина, рот у нее всегда был раскрыт, губы трубочкой, как будто вот-

вот вылетит из него песня птицей. Ребята при ней тоже хулиганили, перевирали слова, запускали бумажные самолеты, все, как при старом учителе, также я внимательно прислушивалась к ее словам и старательно пела, удивляясь, почему другие не поют, меня это даже злило; над моим старанием тоже смеялись мальчики и все дразнили: «О, о, о, как поет-то!» Часто по спине книжкой проведут и толкнут, чтобы я сорвала голос, но я дрожащим голосом продолжала петь, я потом жаловалась, что мне мешает такой-то мальчик петь, его выставляли за дверь, но мое ябедничество не очень-то помогало, и анархия на уроках продолжалась.

В время других уроков я была крайне невнимательна, ничего не слышала, часто отвлекалась, тихо за спиной учениц, чтобы не видела меня учительница, я всегда рисовала, вскоре учительница это заметила, отбирала рисунки и клала на стол, но на перемене эти рисунки одобряла, а после в классе я считалась уже лучшей рисовальщицей, даже взяли меня в редколлегию классной газеты делать карикатуры и прочие рисунки. Однажды я принесла на урок рисования довольно большого формата рисунок с осенним пейзажем, выполненный черным карандашом, я не знаю почему именно черным, может быть у меня тогда не было цветных, но пейзаж получился очень хороший, получилось именно осеннее настроение, голые деревья на бугорке, склоняясь, стояли, а листья ветром разносились, а на переднем плане земля вся в разбросанных камнях, а небо просто темное, лишь к горизонту светлеет, и получилось хорошо уходящее небо. Этот рисунок долго висел в классе на стене, а потом на школьной выставке в актовом зале, после этого все стали считать меня талантом, художником; больше всего я любила рисовать людей, красивых женщин, девочки мне даже делали заказы на красивых женщин, а они потом вырезали из бумаги этих женщин и придумывали для них разные наряды, а потом, вырезая из бумаги разные нарисованные ими причуливые наряды, платья со шлейфами, одевали этих женщин, получалось даже интересно.

## РИСОВАНИЕ, БАЛЕТ, КНИГИ, ФИЛЬМЫ

Моя любовь к рисованию началась еще до школы, с того момента, когда я подолгу лежала в постели больная и смотрела неустанно на стены и вдруг замечала на них какие-то невидимые рисунки, чуть-чуть глаз переведешь, и нет ничего на стенах, а потом находишь эту точку и снова видишь образы зверей, людей, но часто я видела на этих стенах причудливые формы замков, на стенах были зеленого цвета без рисунков обои, с какими-то выпуклыми полосками оборванных нитей, вот эти оборванные нити мне подсказывали чудные образы, целые сюжетные картины; я вскакивала за карандашом, чтобы обвести, что я вижу, но, когда я ложилась, я снова теряла то, что с такой радостью и удивлением находила; затем я снова находила, но уже совсем другие образы, то каких-то страшных чудовищ верхом на конях, то горы с водопадами, и скорее старалась карандашом обвести их, но, когда после смотрю, я уже не узнаю то, что, как мне казалось, я видела: передавалось совсем не то, будто исчезала та сказочная загадочность, в которую проникали мои глаза, и только получались голые линии, в которых я уже ничего такого таинственного не находила. Я часто любила так смотреть на стены, это было моим любимым занятием во время болезни, такие видения у меня и сейчас продолжаются: на всем, на что я смотрю, на дереве или на камне я вижу какой-нибудь рисунок.

Однажды я увидела на спичечной коробке наклейку очень красивую, на ней была нарисована балерина, мне так понравилась она, она стояла на одной ноге, на одном пальце, казалось, а другая нога высоко позади поднята, она похожа была на птицу, с руками, как крылья; на меня это такое произвело сильное впечатление, что я взяла лист и нарисовала

эту балерину, потом я попробовала сделать то же, что и балерина, поднять ногу и стоять, как журавль, на одной ноге, у меня так не получалось, но все-таки я уже себя вообразила балериной. Мы часто играли в ножички во дворе, это такая игра, когда два человека прочерчивают по земле окружность и делят круг пополам, бросая поочередно ножичек в землю другого и отрезая себе часть земли по ходу ножика, если ножик попал; игра продолжается до тех пор, пока у одного из двух не останется ни клочка земли, игра типично российская, захватническая. Когда мы так играли, я в это время часто рисовала на земле огромных балерин, а потом проверяла, правильно ли я нарисовала: против солнца встану, и на земле моя тень, я принимала позу, подражая балерине на спичечной коробке, иногда заставляла это делать другую девочку, и по ее тени обводила по земле палочкой или ножиком, потом ходила по нарисованной балерине, по ее ногам, по распластанным рукам и доходила до головы, мне очень нравилось играть, как я называла, «в балерину»; а от кого я услышала само слово «балерина», я не помню.

Мне очень хотелось стать балериной, вскоре я услышала, что недалеко от нас есть в Шмидтовском парке Дом пионеров, где много разных кружков, в частности балетный; хотя я не была пионеркой, мне было всего девять лет, я все же решила пойти туда и все узнать; я взяла с собой свою младшую сестру Соню и пошла с ней в парк, я туда часто ходила после с сестрами гулять, этот парк находился недалеко от Красной Пресни. Первое впечатление было самое прекрасное, там был бассейн огромный для детей, устраивались соревнования по плаванию, на горе стоял домик маленький, весь зеленый, это тир; у меня не было денег тогда: чтобы один раз выстрелить, нужно платить целый рубль, это только богатые дети могли себе позволить такое удовольствие; однажды в этом парке я нашла рубль и с радостью пошла стрелять и, к моему удивлению, попала в зайца и снова могла стрелять бесплатно, но второй выстрел оказался впустую, и я с огорчением отдала ружье. Я, наконец, решила войти в этот роскошный Дом пио-

неров, двухэтажный старинный помещичий особняк, а в округ огромные тенистые деревья; мне все понравилось; мне сказали, что балетный кружок находится на втором этаже, я поднялась наверх, поискала ту дверь, которую мне надо; на двери была табличка с названием кружка, а за дверью играла музыка и женский голос учительским тоном считал и хлопали ладоши в такт, а потом музыка останавливалась и резкий голос что-то выкрикивал, ругал; я долго стояла за дверью и слушала, как там занимаются, слушала музыку, но всё повторялось одно и то же, видимо, все не так делали. «Вот если бы я там была, я слушала бы внимательно и делала правильно», — думала я. Наконец, занятие окончилось, двери открылись, и высыпали оттуда девочки и мальчики, на девочках были белые юбки и белые тенниски, а мальчики были в черных трико. Я подошла к учительнице и спросила, можно ли мне тоже ходить на занятия; она сказала, что эта группа уже давно ходит, уже целый год, надо было бы раньше, а потом подумала и решила меня взять и сказала, что мне нужно приготовить форму, которую я уже, наверное, видела у девочек, и тогда могу придти на занятие; я очень обрадовалась, поблагодарила ее и побежала домой.

Я очень огорчалась по дороге, что у меня нет ничего, что она велела приготовить для занятий, нет у меня тонких тапочек, а где взять мне юбку, я боюсь спрашивать у мамы, как она отнесется к этому, наверное скажет, что у нее таких денег нет, кормить-то нечем такую ораву; конечно, я уже была готова к тому, что она мне ничего не купит, юбку надо сшить, а мама не сошьет. В общем, как я думала дорогой, так все и получилось, мама только удивилась, она сказала: «Что ты еще выдумала, да у нас сроду танцоров не было, что ты придумала, а где я возьму деньги на все это?» Я ее долго упрашивала и плакала, но так она и не согласилась сделать форму, а юбка эта стоила всего немного, купить немного матерьяла дешевого, из которого шьют наволочки, и сшила бы мне в один час, это не так дорого, она могла бы это сделать, если могла бы понять меня, и я мо-

жет быть, сейчас была бы балериной, я до сих пор жалею, что я не балерина, но уже поздно, и я хотя и гибкая, но не могу сделать то, что без труда делают маленькие дети. В девятнадцать лет я, правда, поступила в балетный кружок Интернационального театра при Московском университете, занималась, к сожалению, недолго, месяцев шесть, я так сильно вывихнула ногу, что пришлось лечь в больницу и прекратить занятия. Помню, на занятиях некоторые не верили, что я не занималась раньше, мне это очень льстило, я действительно на занятиях держалась очень уверенно, как будто всю жизнь только и занималась балетом, приходила раньше всех и готова была заниматься до изнеможения, и усталость моя меня только одухотворяла, я только жалела, что занимались всего два раза в неделю по часу.

Книг я в детстве читала мало, больше рисовала, чем читала, любила больше предаваться своим мечтам, и всегда предпочитала читать сказки, особенно мне нравилась «Залушка», сказка мне была почему-то очень близка, и я хотела в мечтах своих встретить принца, белокурого, с голубыми глазами, и он перенес бы меня отсюда далеко, я всегда хотела быть красивой и чтобы меня полюбил за это мой принц. О принце я думала не только, что он красивый, но необычайно умным должен быть, а потом этот принц в моих мечтах превращался вдруг в балетного танцора, и я с ним танцую, но зрители не знают еще, что мы друг друга любим. Еще мне нравилась книга о Робинзоне Крузо, книга о Гулливере, «Приключения Гекльбери Финна», очень любила читать Александра Грина, его фантастический мир был мне особенно по душе, еще помню, уже позже прочитала роман «Граф Монте-Кристо» А. Дюма, я бы и сейчас еще раз с удовольствием перечитала этот роман.

Книги, которые я читала, были принесены из библиотеки, она была недалеко от школы, в старом доме на улице Веснина, я туда однажды записалась. Что мне не нравилось в этой библиотеке, что когда дети меняли книги, библиотекарша всегда спрашивала, о чем говорится в этой книге, какое мнение у меня о прочитанной книге. А я не любила рассказы-

вать свои впечатления, мне часто совали такие книги, в которых всегда очень сильно выпирали положительные герои, как бы себя навязывали читателю, и этим меня от себя отвращали. Конечно, мне не о чем было рассказывать библиотекарше, у меня язык, как мне казалось, не был очень складным, не был достаточно подвешен, я говорить плохо умела и очень этого стыдилась, а если начинала говорить, то трудно было меня понять и трудно слышать то, что я говорю, до того я говорила тихо, как бы боясь своих слов. Я краснела до слез, что не умею говорить, и получалось так косноязычно, что вдруг я совсем замолкала и стою, голову потупив.

Мне не нравились те книги, которые мне навязывались, например «Кавалер золотой звезды» Бабаевского, «Молодая гвардия» Фадеева, «Р.В.С. (Революционно-военный совет)» Гайдара и многие другие книги со своими псевдогероическими героями, в моей памяти они не оставили никакого места; мне казалось все это слишком неискренним, чем-то претенциозным со своими навязчивыми положительными героями, вызывающими только чувство протеста. Я невольно из-за своего протеста проникалась наоборот симпатией к отрицательным персонажам, как бы в противоборстве с положительными героями; как, например, я наблюдала у маленьких детей такое: вот у них есть роскошные куклы, разные зверюшки и прочие игрушки, но ребенок не обращает на них никакого внимания, но как прижимает к сердцу эта девочка свою уродливую, со слованной ногой и вывихнутой шеей, совсем не красивую куклу, она, эта девочка, по совершенно непонятной своей детской логике предпочитает именно эту уродину, особенно любит, ласковыми словами называет и только с ней играет. Так и у меня с этими книгами, не хотела я то, что мне навязывали, и герои мне казались отвратительными; иногда, конечно, мне удавалось по счастливой случайности прочитать такую книгу, как «Принц и нищий» или «Приключения Тома Сойера» Марка Твена, в этих книгах как бы сам участвуешь, тут все просто, без какой-то тенденциозной направленности, при случае можешь встать на сторону отри-

цательного, при случае другом можешь и за положительного героя переживать, ты волнуешься за всех героев, ничего не упускаешь, когда читаешь. Наряду с этими книгами я запомнила еще почему-то «Как закалялась сталь» Н. Островского, Павка Корчагин мне понравился потому, что этот положительный герой был искренним, и героиня Тоня тоже искренняя, очень верилось тому, как такой отчаянный, довольно грубоватый парень из простой семьи вдруг полюбил такую начитанную барышню из богатой семьи, если он способен полюбить, вот такой, какой он есть, значит в нем самом уже был заложен механизм тонкого качества, таким героям я в детстве верила, они мне близки были. Вот почему мне кажется, что писать нужно проще и естественнее, и вовсе не обязательно положительных возвышать, а отрицательных унижать, и придумывать для положительных героев сверхгеройские поступки, в которых я всегда сильно сомневалась; мне хотелось, чтобы герои ничем сильно не выпирали, хотелось самой разобраться, кто мне нравится: И я уже невольно стала чуять, когда мне подсовывали книги с такими значительными названиями, я уже смутно угадывала, что опять мне дают то же самое, я начала понимать всегда одинаковый стиль, и я просила, чтобы дали что-нибудь другое, с незаметным и скромным названием.

Фильмов я мало смотрела в детстве, мои сверстники часто ходили в кино, но у меня никогда не было денег, и потому я изредка совершала нехорошие поступки, например, я без разрешения родителей брала у них из кармана деньги на кино, а иногда ходила к кинотеатру и просила, как цыганка, у прохожих деньги на кино и набирала нужную сумму только поздно вечером, когда сеансов уже нет на этот день, и мне уже хотелось купить мороженое, я покупала и с наслаждением его ела и чувствовала себя невообразимо счастливой; иногда у меня появлялись деньги от торговли яблоками, мы с матерью ходили продавать эти яблоки на штуки, и мама за это давала на кино деньги, тогда я чувствовала себя богатой, кроме билета в кино у меня была возможность купить мороженое, я чувствовала себя тут самостоятельной девочкой.

Единственный фильм, который остался у меня в памяти, это «Белоснежка и семь гномов» У. Диснея, прекрасный фильм и незабываемый, я бы с удовольствием еще посмотрела, а больше я ничего не помню, хотя помню названия фильмов которые тогда были очень популярны: «Тарзан», на который я не смогла пойти, потому что не было денег, потом «Граф Монте-Кристо», который я также не видела, потом «Багдадский вор», все во дворе то и дело говорили об этих фильмах, я с завистью только слушала.

Кино я очень любила, я даже мечтала сниматься в кино. Однажды, когда я ходила гулять по набережной к Плющихе, в одном из переулков происходили с'емки, не помню, какой делали фильм, но меня поразила плющихинская площадка, ее трудно было узнать, на каждом доме красовались веселые надписи старинных частных лавочек и фабрик и разных фирм, например, я запомнила, было написано крупно: Мануфактурная фирма такого-то (забыла фамилию) и добавлено «и К°», мимо проэжали по мощеной чистой мостовой, где каждый камешек выделялся, пролетки с богатыми дамами, бегущие за ними мальчишки в рванине были грязные к босые, рубашки до пят были до неестественности разорваны и книзу болтались кистями, и лица были неестественно перемазаны; я была удивлена и поражена этими с'емками; потом появлялись какие-то люди в фуражках, как у Ленина, стремительно и с боевыми лицами скрывались в под'езде, где надпись была такая: «Ситценабивная фабрика Копылева и К°». И мне почему-то больше нравилась вот такая Россия, чем сейчас, безликая и тоскливая, с одинаковым выражением проходящих лиц; я долго глядела на с'емки, мне тоже хотелось сняться, хотя бы в роли вот такой, как я, которая еще вчера просила у прохожих, как мне казалось, богатых деньги на кино; но меня не заметили.

## ОТНОШЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ

Когда мама бывала в больнице, с отцом у меня отношения были крайне тяжелыми, целыми днями мы могли не разговаривать, и я настолько привыкла не разговаривать с ним, что иной раз забывала, что он есть; уже с одиннадцати лет я перестала называть его папой; если что-то нужно было его спросить, то я старалась обходиться без этого традиционного и всемирного слова «папа». Ему это, видимо, не нравилось, хотя он и не любил меня, только лет в шестнадцать помню один случай — может, виной тому моя влюбленность в учителя истории, — когда я обратилась к отцу со словом «папа», так он глаза удивленно вскинул, даже рот разинул, и каким-то странным уже теплым голосом он мне ответил; его это так потрясло, что он снова со мной заговорил и даже, как мне казалось, довольно подхалимным голосом, но я настолько привыкла обходить это слово, что произнести «папа» было для меня целой революцией, испытанием; некоторое время я робко и слабо называла его папой до следующего с ним конфликта, которые были без конца.

Надо сказать, когда я была маленькой, мама за меня вступалась, в гневе отец был страшен; когда он в ярости готов был меня убить, избивая ремнем, мама с воплями бросалась к нему, заслоняя меня, но тогда отец, ничего вокруг уже не разбирая, как бык, набрасывался на маму и бил ее, а потом и меня, в комнате стоял такой крик, как будто в самом деле кого-то убивают, маленькие все плачут и кричат, а отец над всеми возвышается устрашающим чудовищем с развивающимся, как змея, ремнем.

Мама много терпела от него жестокостей, она мало его любила, она его даже не знала, прежде чем засватали, так и стали жить вместе и привыкли друг

к другу, отец ее по-своему, может быть, и любил, он часто смешно с ней шутил, например, встанет на четвереньки и бегает за мамой, ее пугая, маме это нравилось, судя по ее смеху радостному, она его называла медведем, потому что он был неуклюж очень, но мама частенько плакала, когда отца не было дома, может быть, она себя жалела, не знаю. Отец вообще по характеру семейный, непьющий, если только с гостями, но чтобы он уходил из дому с кем-то пить, этого не случалось с ним никогда, если бы он к тому же был еще умный, ласковый и веселый, была бы наша жизнь совсем не такой; он был очень злопамятен, сам злой и зло другого помнит. Если мама с папой поссорятся, им некуда на время выйти и успокоиться, и мы все дети слышим эту продолжительную ругань, а потом угнетающее душу молчание, в особенности отец долго мог молчать и умел до конца выдержать, он, насупившись, лежал на боку, а в комнате из-за этого стояла жуткая тишь, а потом вдруг эту тишь он оглашал пронзительным и призывным звуком, исходящим не из уст, а из другого места, и тогда мамины уста размыкаются, и она смеется, а мы, пораженные странным громом, возмущенно кричим: «Мама, это папа делает гром!» — и все вместе его атакуем, тогда он, наконец, смягчается и начинает немного с нами возиться, и тогда у нас снова мир наступает.

Вообще-то они бы меньше ругались, если бы имели больше денег; я помню, часто ссоры были из-за того только, что отец упрекал маму, что она куда-то девает деньги, а ничего нет, и денег нет, а до получки далеко и надо занимать где-то деньги. А тут никто не виноват, мама никогда ничего лишнего не могла позволить, а только самое необходимое, и если мама кому-то, наконец, купит ботинки, потому что старые совсем развалились и не в чем ходить, то получается, что на еду не хватает на остальные дни, и приходится занимать, и концы с концами мои родители никогда не сводили, никогда не вылезали из долгов. Оба работали, но зарплата была ничтожная, отец зарабатывал истопником в домоуправлении всего 600 рублей, мама, работая на аэродроме мойщицей, —

300, так что получалось 900 рублей на всю семью, т. е. 90 рублей новыми деньгами на шесть человек, не хватало на самую скромную еду, а квартиры оплата, а одежда?

Маме надоели эти скандалы никчемные, и она решила после работы заниматься торговлей, кто-то ей посоветовал ходить на базар и оптом покупать какие-нибудь фрукты и овощи, а потом на штуки перепродавать их в людных местах, возле магазина какого-нибудь; правда, был риск, таких ловит милиция и забирает в отделение, но часто милиция просто на месте штрафует, некоторые милиционеры тоже в этом заинтересованы: когда они ловят кого-то из торговок, то штрафуют, не давая на руки талон, а просто говорят: «Платите столько-то!» — та испуганно платит, милиционер строго говорит, чтобы больше не видел ее, и спокойно забирает эти деньги себе в карман, ему тоже надо концы с концами свести, зарплата маленькая, на сотню, может быть, больше, чем у моего отца, да и семья, вероятно, большая. Моя мама, чтобы как-то прокормить нас, ходила торговать цветами, фруктами и овощами, и, кроме того, уйдя с аэродрома, где она простудилась, она еще работала уборщицей, очень рано вставала и шла на работу, потом на базар покупать, а потом перепродавать в людном месте.

Очень часто я, еще будучи маленькой, может быть я училась в классе третьем или четвертом, ходила торговать с ней, а когда мама почувствовала себя неважно, я самостоятельно продолжала торговать; как назло, в этот день погода очень была нехорошая, шел дождь, и было холодно; помню отчетливо: мама больна, сентябрь, шел холодный промозглый дождь, мне нужно все продать, я стояла с жалкими зелеными яблоками, мимо меня быстро проходили, не замечая даже ничего вокруг себя, смотря себе под ноги, пасмурные люди, лица были серые, как тучи грозовые. «Купите яблоки, они стоят очень дешево», — произносила я довольно громко, чтобы люди обратили на меня внимание, но никто так и не обернулся в мою сторону, будто и не слышали, я все тише и тише созывала покупателей, и только перекладывала

с ладони на ладонь маленькие зеленые яблоки, мне уже было стыдно предлагать такие яблоки, но домой я боялась идти, пока все до одного не продам, я уже дрожала от холода, и мне очень хотелось есть и быть в тепле, я долго еще молча так стояла в ожидании, что кто-то, может быть, у меня купит их, хорошо бы какой-нибудь добрый дядя нашелся и из сожаления купил бы у меня все яблоки и я бы пошла спокойно домой, я жадно вглядывалась в лица, пробуя угадать, кто именно тот добрый человек, который сможет купить у меня яблоки, но все проходили мимо, даже не замечая меня. Это был единственный случай, что я самостоятельно торговала, почти всегда я была при торговле охранником мамы, я становилась чуть подальше и смотрела, не идет ли милиционер, и если он появлялся на горизонте, то я быстро предупреждала маму и она, запихивая все в сумку, пряталась в магазине или в женском туалете поблизости, смотрительница туалета даже получала от торговок скромную мзду; иногда милиционер из-за угла нечаянно нагрянет и кого штрафует, кого забирает в милицию, так что остальные, кто успел убраться поскорей, в другом месте начинают свою торговлю с опаской и с оглядкой.

Несмотря на опасность, заработки были очень небольшие, я помню, что мы ели очень скудно на эти деньги, на завтрак мы просто пили чай с хлебом, когда есть масло на хлеб, так это счастье; на обед суп, а потом чай; на ужин часто вареная картошка или жареная, или какая-нибудь кашка, перловая или пшенная, и тоже чай, отец, правда, и утром ел суп, потому что у него тяжелая физическая работа. Я помню, как мама всегда считала кусочки сахара и клала в вазу и устанавливала норму такую: один кусок на каждого, поэтому, если еще раз потянешься, то получишь по пальцам; так мама все делила между всеми; мы, дети, всегда смотрели с жадностью и завистью друг на друга, чтобы никому лишнего не досталось, а если, как кажется, и досталось, например, мне, как старшей, то младшие вырывали у меня из рук и не давали есть, и приходилось потихоньку есть, делить совершенно невозможно ничтожный кусочек;

за столом у нас всегда были дикие споры и ссоры и даже до драки доходило из-за миллиграмма. После еды вся пища тщательно запиралась на замок, и потому у нас все дети были охотниками до заветного ключа; мама иногда приляжет, и из кармана вывалится у нее заветный ключ, он тотчас же похищался мной или моей сестрой Сонькой, и долго этот ключ скрывался у кого-то из нас, пока кто-то во время отсутствия родителей не открывал большой ларь и что-нибудь брал, брали как раз то, что мама очень редко ставила на стол, например, варенье, и мы лакомились, шушукались и сговаривались, чтобы никто из нас не говорил родителям.

Соня, хоть и пользовалась этим ларьком, все равно при случае выдавала меня, и тогда берегись отца, уж он этого не пропустит, возьмет ремень широкий и начнет лупить, пока не попросишь у него пощады, а он говорил так: «Я тебя так буду лупить, что будешь кровью ходить». Когда отец долго доставал ремень и гремел пряжкой, я от страха замирала, вся пружинилась, и когда нависал надо мной змеевидный ремень, я, как кошка, бросалась к отцу и вцеплялась в него; избивая меня со страшной силой и буквально за малейший проступок, отец вкладывал в это двойную злобу, главным, конечно, было то, что я всегда отравляла им их блаженные ночи, что я за ними подсматривала, и за это он меня особенно ненавидел и потому ожесточенно избивал; мама, когда видела это, боялась, что он меня убьет, до того была сильна его ненависть.

После избиения он запирал меня в сарае холодном, а там крысы и мыши, я ложилась в изнеможении на голые доски и сладко в горячих слезах засыпала, а когда просыпалась, сново сотрясалось мое тело в плаче, и доходило даже до истерики, я кусала себя, срывала еще не зажившие на теле кровавые болячки, мне нравилось себе причинять боль, я с наслаждением это делала, раскрыв рот и округляя глаза. Приходила за мной моя подруга Надя, она стучала в дверь, а ей мама моя отвечала, что я не выйду, а я из сарая ее в слезах кличу и прошу, чтобы она сняла замок или отодвинула задвижку,

если дверь просто на задвижке; она что-то очень долго стояла возле двери и все пыхтела, никак у нее не получалось, и только с трудом она открыла, я ей была благодарна и рада ей, моей избавительнице; мы с ней сидели в сарае, она меня расспрашивала, что со мной, за что меня били и в сарай заперли; я сначала от ее расспросов еще пуще залилась слезами, а потом показывала ей все свои раны кровоточащие и большие синяки и приговаривала: «Как я его ненавижу, своего отца». Надя меня успокаивала, спрашивала, ела я что-нибудь, я качала головой, тогда она бежала к себе домой и приносила мне хлеб, и я с жадностью ела; успокоившись, я шла к ней.

У меня всегда был немой вопрос, почему я родилась у своих родителей, а не у других, мне совсем не нравились они, я хотела себе представить хоть на минуту других родителей, ласковых, богатых, культурных; я думала, ночью в постели лежа, а ведь есть же дяди и тети, которые не имеют детей, и я уже представляла себе культурного дядю с седыми волосами и тетю такую же, чуть стареющую, у них нет детей, и они меня берут на воспитание на несколько лет, а потом мои настоящие родители должны меня оттуда взять, я уже большая и мне надо идти на работу, помогать им, ведь им не хватает денег, и как будто дядя и тетя сделали меня очень культурной, я уже кончила балетную школу, научилась играть на рояле, и они так ко мне привыкли, что ни за что не хотят отдать меня моим родителям, я тоже их очень полюбила и остаюсь с ними жить, я уже себя представляла девушкой. Я не могла видеть нигде в детстве людей иной культуры, чем мои родители или наши соседи, в моем воображении дом новых родителей представлялся старинным, патриархальным, чтобы отношения друг с другом в таком доме были нежными, без ругательств, чтобы родители нежно целовали своих детей и вместе шли бы на прогулки, чтобы родители понимали меня, у таких родителей я бы уже давно занималась балетом, музыкой, а тут моя мама однажды ударила меня по голове стаканом только за то, что я упрекала ее, почему она мне не купила тетради, не в чем делать

уроки. Мама после удара стаканом сама очень испугалась, стакан был в сумке, с которой мама ходила торговать семечками, этой сумкой-то она меня и ударила, из головы обильно потекла кровь и никак не переставала, умывальник был полон крови, мама не знала, что делать, вопила так, что мне было страшно не от крови и не от боли, а от крика ее истерического; наконец, догадалась закрыть мою голову тряпкой и повела в аптеку, которая недалеко от нас, вокруг раны мне остригли волосы, рану смазали и всю голову забинтовали, я была похожа на раненого бойца, даже сейчас осталась памятка —проталина с бугорком на голове.

Мое отношение к родителям становилось все хуже; когда отец бил меня, я бормотала угрожающе, что вот уйду от них; я обижалась на родителей до того, что наконец решила уйти совсем из дома в фантастической надежде найти новых родителей, было мне лет десять или девять. Было воскресное утро, это было уже в марте, когда утром начинает подтаивать, солнышко радостно греет, а днем еще теплее, и только к вечеру все застывает и очень холодные сумерки, вот я и отправилась искать солнечным утром, захватила с собой большой кусок хлеба с сахаром и пошла, куда глаза глядят. Мимо меня проходят разные тети и дяди, я оценивающе их рассматриваю, и так я долго иду и на всех смотрю, но никто мне не нравится пока, я начинаю хотеть есть, достаю из кармана ломоть хлеба и ем, начинаю замерзать, на мне все легкое, осеннее пальтишко, легкий платок на голове, варежек не было, но домой я не хотела. Ходила я далеко по набережной к Пресне, свернула направо к Шмидтовскому парку, погуляла там, потом еще кудато пошла, все ища новых родителей, но они так и не встречались, и никто на меня не обращал внимания; зашла в какой-то двор и в под'езде погрелась, потом заплакала, чувствуя себя одинокой-одинокой, и почему-то мне уже захотелось, чтобы моя собственная мама меня нашла и к груди прижала, но она не прижмет, хотя и бывает ласковой, но в ее ласках что-то неполное, может быть, ей не до меня, ох, как холодно, интересно, ищет меня мама или нет. В глу-

бине под'езда открылась дверь и показалась красивая женщина, она вышла во двор и окликнула девочку, наверное ее дочь; эта женщина, наверное, культурная, у нее красивое платье и не грубое лицо, я с завистью посмотрела на девочку, которую она вела. Дверь захлопнулась за ними, и я опять осталась одна в пустынном под'езде, во мне тоже было пусто и одиноко, все чувства притупились, как будто постепенно внутри у меня леденело, я сидела, смотря в одну точку, а потом выплыл перед глазами страшный отец со змеевидным ремнем и плачущая мама; мне вдруг стало очень жаль ее, я подумала, что, может быть, он сейчас ее бьет, а может быть, она меня целый день ищет и с ног сбилась, может быть, я пойду домой, но только не потому, что я сама хочу домой, а из жалости к маме. Я вышла из подъезда и побрела домой.

Когда через час-полтора я приблизилась к дому, я сразу не пошла во двор, а походила по другой стороне улицы, дав себя увидеть; не успела я появиться, как меня уже заметили соседи, которые знали, что я с утра пропала, они передали маме, и та тотчас прибежала ко мне с испуганными глазами и не знала, радоваться или нет, но как-то она со мной стала говорить мягко; я дала себя поцеловать, держалась очень независимо и гордо, что и без них могу прожить, захочу, навсегда уйду, хотя про себя я знала, что куда же я пойду. Я нехотя пошла с мамой снова в нелюбимый дом, к нелюбимому отцу, а есть хотелось нестерпимо, я с утра почти ничего не ела, если не считать куска хлеба; несмотря на ненависть к моему дому, я все же предвкушала горячий ужин, тепло в комнате и желанную постель, в которой я, долго не засыпая, предавалась бы моим мечтам о новых родителях, которых я так и не встретила сегодня. Мама, ведя меня за руку, все приговаривала, что как мне, наверное, холодно, голодно, а дома мне будет хорошо, погреюсь, горячего супу поем; мне действительно, как дворовой собаке, так жаждалось чего-то поесть, даже не важно, что. Когда я вошла в комнату, отец исподлобья на меня взглянул и что-то промычал вроде того: «М-м-м, пришла, пропащая, чего же ты пришла,

иди туда, откуда пришла». А сестра Сонька подошла ко мне и не без ехидства сказала: «А мы ели без тебя пирожки с повидлом, мама купила, а тебе не оставила».

Мама стала возиться со мной, как с новорожденным младенцем, она даже меня причесала; мне, признаюсь, было приятно это, при этом она что-то ласковое говорила и называла меня маленькой дурочкой, снимала с меня мокрые насквозь ботинки, чулки, вообще все внимание было на мне; я только обиделась, что она пирожки мне не оставила, я спросила ее об этом, но она выразительно посмотрела на меня и усадила за стол; мама дала мне сначала горячий суп, на второе жареную картошку, которую я очень любила, а на третье был чай с пирожками; это было для меня большим праздником. Я подумала хитро, мама, наверное, нарочно все так устроила, чтобы заслужить мою любовь, я-то знаю ваши хитрости; но вообще было приятно вновь как бы обрести приют, тепло; вечер прошел очень хорошо, я играла с младшими, все было мирно и спокойно, родители о чем-то весело разговаривали, я любила в доме веселье, радость и спокойствие.

## МОЙ БРАТ МАНСУР

Лет через пять брат мой Мансур, когда ему было девять лет, а мне уже четырнадцать, тоже, как и я, решил бежать из дома; он бежал с одним товарищем, у которого не было отца, этот мальчик, как я помню, подал инициативу к побегу, у него были даже деньги, свороованные где-то. Этот мальчик и мой брат поехали в поезде без билета, уже от'ехали далеко от Москвы, но на пятидесятом километре контролер их засек как безбилетников и сдал в милицию, потому что они не сказали даже своих фамилий; в ближайшем отделении милиции они тоже не сказали фамилий, как раз недалеко оттуда был детский дом, туда их повели, и там они пробыли несколько дней.

Мама в панике искала его, названивала по всем отделениям милиции, потом из городского отдела сообщили маме, что они в детдоме, мама поехала с матерью того мальчика и забрали их оттуда, тем и кончилось их далекое путешествие. Мансур мало рассказывал об этом доме, говорил, что были там по большей части какие-то бандюги, кормили из алюминиевых мисок, и все ложками кидались друг в друга, ходили все строем и работали в столярных мастерских.

Я не знаю, что дальше было с товарищем Мансура, но помню, мать его даже хотела отказаться от него, он без конца крал у нее деньги и у других людей; их дружба с Мансуром кончилась, потому что мы со Смоленской переехали в другой конец города, на проспект Вернадского. Мой брат впоследствии также уходил на целый день и где-то пропадал; постепенно подрастая, он становился агрессивным и часто кидался на отца с кулаками, учился скверно, больше хулиганил, бил сестер и даже меня, хотя я была стар-

шая; впоследствии, когда ему было шестнадцать лет, он сошел с ума.

Будучи совсем больным и пролежав долго в больнице, он, по возвращении домой, совершенно не выходил на улицу, стал бояться людей и сам себя стеснялся, и только сидел в своей комнате — мы получили трехкомнатную квартиру, когда мне было семнадцать лет, — и стучал по своей голове и бормотал вслух: «Какой я идиот, идиот, я идиот!» Уже совсем изредка он делал рисунки, главным образом копировал из разных учебников, а потом выдавал за свои собственные и, когда я приходила навещать родителей, со значительным видом эти рисунки показывал мне; еще раньше он хотел написать какой-то роман, написал одну страничку, которая лежит в столе вот уже несколько лет, а теперь из-за тяжелой болезни у него появилась мания величия, он-де гениальный писатель, гениальный художник, что даже затмил такого художника, как Леонардо да Винчи, не говоря уже обо мне. Он всегда к моему искусству относился весьма насмешливо и со значительным видом доказывал, что он, хотя моложе меня, но старше в искусстве, он спрашивал, почему у меня нет линий на картинах, почему на моих картинах всегда едва уловимые, почти растворяющиеся образы. Я также со значительным видом говорила, что я не чертежник, чтобы делать четкие линии; вообще он меня раздражал ужасно, когда я еще жила с родителями, он ничего почти не знал, на выставки не ходил, ничего не читал, кроме фантастических романов, а спорил всегда с апломбом; он действительно имел не то что талант, но способность к рисованию.

Вообще я думаю, мой брат по натуре не агрессивный, его таким сделали родители, будучи нетерпимыми ко всяким детским шалостям и играм. На самом деле, я помню, в детстве брат был очень добрым, отзывчивым, с сильно выраженным чувством справедливости, очень легко ранимым, а потому реактивно-взрывным. Я помню, как брат приносил домой разных насекомых и подолгу с ними возился, укладывая их в вату в разные коробочки, а то приносил хромых щенят и кошек, над которыми издевались мальчишки во дво-

ре, он хотел ухаживать за ними, но мои родители с криком выталкивали его вместе со всеми животными, говоря, что от насекомых вред один, а собаки жрут много, самим не останется, так что бабочки летели в воздух, а собачки то лаяли, то скулили в ответ на такую грубость моих родителей.

## ДЕТСТВО, ОТРОЧЕСТВО И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МОЕЙ СЕСТРЫ СОНИ

Моя сестра София, Соня, старше брата на два года, но с ума сошла значительно раньше, примерно в одиннадцать лет, она была гораздо интереснее моего брата, думаю, не будь она сумасшедшей, она была бы совсем не интересна, а была бы, как и многие люди вне искусства в этой тоскливой и однообразной жизни, такие люди проходят, и ничего от них не остается, ни воспоминаний, ни дел.

Соня, видимо, с самого раннего детства была больна, но этого никто не замечал особенно, она была весела, резва, не была агрессивной, как брат, хотя почему-то училась с первого класса во вспомогательной школе, той самой, куда меня посылали с предательским письмом, там учатся умственно отсталые дети, и программа для них облегченная и замедленная; помню, когда я ходила туда за ней, я видела в раздевалке дегенератов с личиком в кулачек, с приплюснытыми носами и поросячьими глазами, и многие дети были этими чертами наделены, и среди них моя Сонька — красивая, с осмысленным лицом, и это мне было непонятно тогда; правда, она туговато соображала, но с кем не бывает, я тоже была не сильна в учении; ее в школе хвалили, любовались ею, она высокого роста, с черными волосами и с черными мечтательными большими глазами, она даже во дворе многим нравилась, несмотря на то, что она татарка.

Как-то раз, ей было одиннадцать-двенадцать лет тогда, мама ее послала вынести мусор во двор; это было вечером; она нас поразила, когда пришла, выражением своего лица, в ней столько было испуга, она тряслась вся и что-то бормотала, что не разберешь. Мы с мамой спрашиваем: «Что, Соня, случилось?» Она не отвечает, в глазах неописуемый страх, вот-

вот заплачет, а нам говорит, что ничего особенного не случилось. Нам было странно, и я решила узнать, что все это значит; я спала уже на одной кровати с Соней; когда все улеглись, я потихоньку стала расспрашивать ее, она сперва не отвечала, тогда я начала задавать наводящие вопросы, что кто-то, может быть, ее обидел и дурно обошелся; она, долго помолчав, вдруг сказала: «Ты никому не рассказывай, со мной случилось несчастье». Опять она долго молчала, а я настойчиво канючила, торопила с рассказом и заверяла, что никому не скажу, тогда она, мне поверив, медленно начала: «Ты знаешь, скоро ребенок будет у меня, я беременная». Я опешила даже от такого начала и спрашиваю: «Как ты беременная, откуда? Чем? Ветром?» Мне стало очень смешно, я ей не поверила; когда я перестала смеяться, она мне говорит дальше: «Когда я пошла выносить мусор во двор, там около мусорных ящиков бегал Славка-мокрица, он увидал меня и вошел в эту пристроечку, где стоят ящики, и меня там прижал в углу, я вырвалась и убежала». Я спрашиваю ее удивленно: «Что, это все? Он же ничего не сделал с тобой больше?» Тут она совсем замолчала, и уже было невозможно что-то вытянуть из нее, так она и заснула, я думала о ней, что, может быть, все это только ее сексуальное воображение, оно было у нас у всех. Я думаю теперь, что это просто у нее так рано началась первая менструация, что случайно совпало с происшествием у мусорных ящиков, и напугала ее своей неожиданностью.

Наутро она ни с кем не разговаривала, глядела на всех угрюмо, была ужасно груба со всеми, в особенности с отцом, хотя отец всегда почему-то ее любил больше всех, не знаю почему, может быть, она напоминала мою маму в молодости. Потом мама часто стала обнаруживать недостачу денег, и все подозрения падали на Соню, потому что происходило это тогда, когда нас не было; она стала часто пропадать из дому, лишь поздно вечером приходила; вскоре выяснилось, что она уже давно не ходит в школу, приходила учительница узнать, в чем дело, рассказывала, что последние дни, когда Соня посещала школу,

она была очень странная, никогда не была грубой, а теперь лютый зверь; пожаловалась, что Соня сломала парту, разорвала учебники, в общем переменилась она так, что ее никто в классе не узнает; учительница просила проследить за ней, что-то с ней творится. По ночам я просыпалась от ее разговоров, с кем-то она во сне разговаривала и ругалась на дворовом жаргоне, она даже во сне меня колотила; била младшую сестренку, стала такой агрессивной, что мама ее начала побаиваться.

Как-то вдруг Соня странно заговорила перед сном, начала так загадочно и пространно, что я ничего толком не понимала, без конца переспрашивала; я точно уже не помню, но говорила она какие-то фантастические вещи, вроде того, что она познакомилась с одной иностранной девочкой, что ее дом недалеко от набережной, она описывала этот дом совершенно фантастично, что уже не могу передать теперь, что комнат столько, что не пересчитать, что сама эта девочка нарядная, как кукла, что Соню угощали разными сортами шоколада, описывала какие-то причудливые аппараты белого цвета огромных размеров, особенно, помню, была восхищена телефоном, по которому якобы можно разговаривать с другими странами, и как говорила по телефону эта девочка на своем языке; она рассказывала, что когда она попала в эту квартиру, словно в сказочный мир попала, так она была поражена, но потом она что-то путала, и трудно было связать все ею сказанное, но то, что она рассказывала мне, производило какое-то фантастическое впечатление. А на другой день она вдруг принесла консервы с ярко раскрашенной этикеткой, шоколад и белые туфли на высоких каблуках-шпильках; мама, как увидела, села от удивления и ахнула и, как всегда она делает от удивления, от восторга, закрыла лицо руками, как маленькие дети, а потом всплеснула ими в беспомощности и испуганно спросила, откуда это. Она тотчас все отобрала у нее, думая, что продукты отравлены, в то время все родители запрещали брать что-либо у чужого из рук, со времени «дела врачей» (1953) среди простонародья широко распросранены были слухи о «врачах-отравителях», разумеется

евреях, а также и об «американских шпионах». Но Соня оказалась гораздо проворнее мамы, она вырвала консервы и туфли у нее из рук и выбежала из дома, мама за ней, она добежала до набережной, Соня уже на мосту, мама на мост, но Соня уже, нагнувшись над перилами, бросала в воду все, что удалось выхватить, лишь бы не перехватила мама; мама все-таки сумела ее поймать и привести домой; она долго потом все это переживала, советовалась с отцом; родители до сих пор думают, что поев этих иностранных консервов, Соня и сошла с ума.

Прошло тем временем еще несколько дней, Соня опять со своими сюрпризами, опять ее до ночи нет дома, все волнуемся, не случилось ли опять что-нибудь с ней, но наконец она является домой, в ужасном виде, словно побывала в аду, вся в крови, волосы дыбом, глаза безумные, лицо вымазано в грязи, платье порвано, и в руке держит окровавленный мужской носок. Мама сама обезумела от ее вида, дети проснулись и заплакали, но Соня мужественно выдержала наши взгляды и истерический мамин голос; потом мама немного успокоилась, ничего не сказала нам и ей, а стала приводить в порядок ее и укладывать спать, оставляя все на завтра, а отец проявил неожиданный такт, ничего не сказал Соньке, а на нас гаркнул: «Всем ложиться спать!»

В эту ночь я у Сони решила узнать, что с ней случилось; она мне рассказала, будто к ней подъехала роскошная машина, дверца раскрылась, и показался очень красивый человек, он сказал: «Вы узнаете меня, я тот самый художник, о котором рассказывала вам ваша сестра, я отлично знаю вашу сестру, она талантливая художница, садитесь же, я вас покатаю». И Соня села, он увез ее далеко, уже город позади, вот широкие поля, он машину остановил и стал грубо ее домогаться и после долгих сопротивлений овладел ею в чистом поле, почти ночью, а кругом ни души, ее крик тонул во тьме кромешной, грешной; а потом Соня рассказывала, что он ее довез почти до ее района и оставил, так она дошла до дома. В ее рассказе все путалось, ее обидчик из моего знакомого художника вдруг превращался в какого-то Витю, который ее

очень любит и все время будет приходить к ней во двор, а она выходить к нему на свидание; ненависть к этому насильнику вдруг превращалась в жгучую любовь; но я знаю отлично. что художника она выдумала, ее просто изнасиловал какой-то грубый парень; я рассказывала ей как-то об одном художнике, что он красивый, говорила и про машину, но в ее больном воображении все перемешалось и превратилось в кашу; но то, что сделали с ней, она передала довольно связно. Кто это сделал, мы так и не узнали, по-видимому, его звали Витя, потому что «Витя» потом не раз появлялся в ее фантазиях. После этого случая она окончательно сошла с ума, мама показала ее психиатру, и врач признал ее тяжело больной; мама показала ее гинекологу, дабы с точностью удостовериться, как будто это не было и так понятно, в ее потерянной навсегда девственности; после такой тщательной проверки ее отправили в психбольницу, там она теперь почти каждый год пребывает, но и дома бывает. Ей было тринадцать лет, когда все это произошло, но выглядела она стройной высокой семнадцатилетней девушкой, а к семнадцати годам стала уже грузной, как сорокалетняя, хотя с молодым лицом.

Когда она приходила домой из больницы, я старалась с ней куда-то сходить, я водила ее в консерваторию; она всегда меня смешила своими нелепыми выходками, иной раз мне было даже стыдно, что она так странно себя ведет. Она всегда с собой таскала неразлучную маленькую, но очень об'емистую сумочку, из которой, как она откроет, высыпалась всегда куча всякого мусора, хлебные крошки, разорванные бумажки, иной раз она умудрялась засунуть туда бутылку кефира, потом она вытаскивала из сумочки грязный платок, а в платочке у нее всегда находился маленький огрызок карандаша, маленький осколок зеркальца, еще какие-то записочки с каракулями, но главным содержимым ее сумочки была маленькая книжечка, брошюра какого-нибудь академика астрономии, она всегда носила книжечки подобного рода, так как страстно любила астрономию и даже сама собиралась написать обширный труд о своем гениаль-

ном открытии мирового значения. Так она открывала свою сумочку в антракте, с серьезным взглядом, ни на кого не глядя, вытаскивала огрызки карандаша и брошюрки поочередно и клала рядом с собой на кресло, озобоченно что-то искала, все у нее падало на пол, прошел интеллигентного вида мужчина с дамой, он заметил оброненный предмет, слегка подался вперед, чтобы поднять и подать моей Соне, но не тут-то было, Соня с невероятной торопливостью нагнулась и быстро подняла свой грязный платок; потом она снова лихорадочно рылась, в то же время с опаской озираясь по сторонам, боясь, что кто-то сядет на кресло, где лежат ее предметы, она боялась, как бы кто не покусился на важные предметы, как листочек с ее последними мыслями и брошюра по астрономии. Зазвучал звонок на второе отделение, моя Соня, обгоняя всех и толкая с возбуждением, бежала к тому ряду, где, по ее мнению, были свободные места, она стремительно рвалась туда, возмущая толпу, на нее все уже стали смотреть, и мне было неловко, а она так и устроилась там, громко призывая меня к себе и тем окончательно раздражая людей, которые уже настроили свои уши на музыкальный лад. Когда зазвучали первые аккорды, Соня, к ужасу своих соседей, вдруг начала, сидя на своем месте, дирижировать, размахивая своими толстыми руками, а ртом музицировала; когда начался антракт, она стремительно бежала к эстраде и разговаривала с музыкантами, утверждая, будто она и есть настоящий дирижер, она давала советы, как лучше надо играть; я, конечно, старалась в это время от нее держаться подальше, я не знала, куда деваться от стыда и неловкости, она же громко звала меня к себе; Соня потом на мои упреки хладнокровно отвечала: «С больного спроса нет».

Дирижировать она любила не только на концертах, но и просто где бы она не была, дома, в гостях и на улице, ей нравилась музыка, и она всем движением рук и голосом выражала свою страсть к музыке. Очень любила она Баха, и когда она слушала музыку Баха с грампластинки, ее глаза всегда безумно блуждали, вдруг куда-то остановятся в пространство неизведанное, глаза у нее красивые, большие до жути, в

них черная бездна. Когда я вышла замуж и перешла жить к мужу, моя сестра в свободный от пребывания в больнице месяц сразу же без всякого звонка приходила к нам, она шумно вваливалась всем своим громадным телом монстра к нам в комнату, сбивая на ходу стоящие по стеночкам мои картины, в комнате от нее стоял ужасный грохот и хохот, затем она тотчас садилась за рояль и музицировала. Играть на рояле было ее страстью, хотя она не знала ни единой ноты и понятия не имела, что означает каждая клавиша, она весьма уверенно между тем играла, играла самозабвенно, страстно, я с мужем давали тему какую-нибудь, и она тотчас приступала к импровизации. Надо сказать, что у нее удивительный импровизаторский дар, она умела владеть всеми клавишами, была уверена в игре; то слышишь как бы мощные аккорды Бетховена, которыми она оглашала двор, так, что казалось, что треснет рояль наш, то вдруг внезапно переходит на что-то, похожее на Шопена, и снова мощные звуки, похожие уже на Баха, устремлялись в потолок. При импровизировании она всегда с гордостью говорила, что музыка, которую мы слышим, сочинена ею самой, она боялась, что мы подумаем, будто музыка эта Баха, Бетховена и Шопена, а не ее вовсе, и что мы припишем ее заслуги этим композиторам. Нам были смешны ее опасения на этот счет, она, как я сказала, не знала ни одной ноты, однажды она, правда, вытащила из сумочки замусоленную бумажку с нотами, Соня сказала, что это мелодия Интернационала, положила ее на пюпитр, потом потыкала по клавишам бессмысленно пальцами и сказала, что скоро поступит в институт им. Гнесиных, вообще планы разные она строила без конца.

Соня, кроме музыкального таланта, имела способность к живописи, но только, по ее словам, она не хотела быть художником, это было лишь ее увлечением. Она часто приносила нам свои рисунки, акварели; рисунки ее были действительно интересными по своей странной сюрреальной композиции, особенно женские портреты; помню рисунок обнаженной женщины лежащей, выполненный на бумаге, головой устремлена в один угол верхний, а в нижнем углу ее

ноги, женщина эта очень напоминала женщин на картинах Пиросаношвили по своей наивности и отреченности.

Самым важным своим занятием Соня считала астрономию, читала книги по астрономии, ходила в планетарий, слушала там лекции и смотрела астрономические фильмы; мама хотя и не давала денег на планетарий, но для Сони это было все просто — она незаметно похищала деньги из карманов родителей; кроме того, она не только читала научно-популярные книжки и слушала лекции, но и сама делала астрономические открытия, изложив их на листах ученической тетради. Как-то раз она даже отправила письмо со своим открытием академику Седову в Ленинград, в Пулковскую обсерваторию; ее письмо пришло обратно с извещением, что академика Седова там не находится. Я с Галей читали письмо без нее, там было трудно понять что-либо, буква на букву налезала, такой бред, что и передать невозможно, она начинала фразу — две буквы были понятны, но дальше все сливалось и обрывалось, я только запомнила вот это: «Комета должна появиться в 1973 году, она заденет землю и перевернет ее». Как ни странно, отчасти это предсказание сбылось, так как в 1973 году появилась комета Кохоутека, хотя землю и не перевернула.

Получив конверт назад, Соня вынула свои рукописи и отправилась прямо к университету на Ленинских горах и стала около под'езда поджидать, не появится ли человек ученого вида с большим портфелем, и когда такой как раз появился, она быстро подбежала к нему и сначала спросила, ученый ли он, когда он ответил ей утвердительно, видимо, поняв, с кем разговаривает, она таинственна вытащила свои рукописи из сумочки и сказала, что здесь изложено ее открытие и что она хочет, чтобы это ее открытие имело мировое значение, и что пусть этот ученый передаст кому надо на ученом совете. Этот ученый очень любезно выслушал ее, ответил, что очень рад ей помочь, взял ее рукопись, положил в свой большой портфель, взял ее под руку и сказал, что хочет познакомить ее со своими коллегами-астрономами, и

повез куда-то; остановились около огромного серого здания, у входа он ее оставил и просил подождать, и через некоторое время вышел в сопровождении женщины в белом халате; очень любезный ученый слегка подвел Соню к этой женщине и сказал, что сейчас с ней хотят разговаривать его коллеги по поводу ее работ, затем, с ней дружелюбно попрощавшись, он быстро удалился, а женщина повела ее в кабинет, расспросила о рукописях, спросила ее адрес, потом что-то долго писала, позвонила из кабинета, вызвала санитарную машину, и мою Соню отвезли в психбольницу; таким образом, ее рукописи попали в психбольницу и тем самым обогатили ее «историю болезни».

Когда мы, наконец, нашли ее в этой больнице, врач рассказал, как она туда попала; Соня была в крайне депрессивном состоянии, на свидании была неузнаваема, не было в ней прежней живости, задора, была желтая, апатичная, не хотела со мной и с мамой разговаривать, она даже не помнила, как попала в больницу, и не интересовалась своими рукописями; я не знаю, чем ее лечили, а также других, но большинство больных были похожи на нее своей вялостью. Глушили их, наверное, какими-то лекарствами, при которых все забывается и больной превращается в подобие человека.

Зал для свиданий был не очень большой, этот зал был и столовой для больных, и гостиной, там они смотрели телевизор, а днем занимались художественной работой — вышивали, делали матрешек, шили для матрешек, рисовали, и все лучшие работы выставлялись в этом зале под стеклом; это они делали в зимнее время, а летом их водили разводить овощи, цветы; мне очень понравилось, что корпуса больничные стоят среди небольшого лесочка с извилистыми тропинками и сделанными самими больными клумбами. В зале стоял большой рояль, и кто умел играть на нем, тот и играл, а кто не умел, тот тоже играл, там моя Соня и научилась так уверенно играть. На свидании в зал набивалось столько родственников, что даже не хватало стульев на всех, и около каждой больной стояло по нескольку родных, и все они

старательно кормили своих больных, даже насильно запихивали им в рот привезенное, чтобы потом не досталось нянькам и сестрам; те во время шокового состояния больного поедали гостинцы, привезенные родными. Были и такие больные, которые даже не слышали, что говорят родственники, ели так, что уши шевелились у них, как у собак, и все, что приносилось на несколько дней, поедается сразу, на них страшно смотреть, они в это время очень похожи на дикарей или животных, а их родные смотрят на это покорно, как будто уже так и надо. Среди таких обжор была и моя Соня, но у нее не всегда так, а в зависимости от того, какое лекарство в данный момент ей дают, и состояние от этого менялось каждый раз, наверное, врачи испытывали на ней эффект каждого лекарства, ведь это больница им. Кащенко, при Институте экспериментальной психиатрии.

Лечение такое, что из ста процентов, может быть, только один процент как-то выздоравливал, а остальные не лечились, а залечивались, то есть из одной формы болезнь переходила в другую. В больнице есть такие учетные книги — когда больная прибыла, какие процедуры проходит, какие лекарства принимает, и все это должно уложиться в шестимесячный срок, затем она выписывается, хотя издали видно, насколько эта больная здорова. К примеру, Соня, когда она попадала в больницу, лечилась по шесть месяцев, потом ее выписывали и она приходила домой еще более больная и через каких-то несколько дней снова попадала в эту же больницу и даже в это же отделение, и снова на нее заводилась «история болезни», и она вписывалась туда как вновь прибывшая на лечение. Оказывается, важен не процесс лечения и подлинный результат, а то, чтобы уложиться в этот срок, чтобы создавалась видимость благоприятной статистики выздоровлений.

Помню, на одном свидании Соня была необычайно весела и возбуждена, глаза лихорадочно блестели и бегали, я почти узнавала в ней ту, которая приходила к нам играть на рояле с живостью и темпераментом, ту, которая носилась со своими рукописями, но на нас с мамой она и не смотрела, а все смотрела на муж-

чин, которые пришли к своим женам или детям, брала из рук мамы бананы и ходила угощать мужчин, подходила к самому красивому и угощала его, затем говорила без всякого стеснения так: «Скажите мне, пожалуйста, а правда, что я красивая, правда, что у меня большие карие глаза и римский нос?» И снова продолжала угощать его, невзирая на его смущение; сестра, ее увидав, сразу же оттаскивала от него и приводила ее к нам, дорогой ее ругая, Соня на нее презрительно только фыркала. В такой момент она была дьявольски красива, потому что, как я думаю, вся эта болезнь была дьявольским наваждением. Помню еще один смешной эпизод, как Соня однажды в больнице чуть не сожгла заживо свою ненавистную соседку по палате, соседка проснулась, а вся ее постель в пламени, дежурная по коридору услышала крик, почувствовала запах гари, прибежала и вовремя ее спасла, а Соня тоже в испуге давай прыгать по всем кроватям, прямо по больным от дежурной сестры, пришла на помощь другая сестра, Соню поймали и перевели в буйное отделение. Интересно, что все письма, которые Соня писала нам из больницы, она начинала так: «Я чувствую себя хорошо, того же и вам желаю».

Дома после больницы она сначала вела себя пассивно и вяло, ей в последние дни в больнице давали большую дозу успокаивающих, и она прибывала домой равнодушная, неинтересная, апатичная, у нее не было аппетита, сутками могла спать, а когда кончались в ее организме эти лекарства, то постепенно она выходила из спячки и вся цвела, тогда появлялись у нее буйные фантазии, талант к искусству, интерес к астрономии, но наряду со всем этим у нее возобновлялась и даже усиливалась лютая ненависть к родителям, не понимающим ее, подозрительность к ним, появлялся у нее звериный аппетит, ела за троих, вызывая тем самым злобу со стороны родителей, дома она была невыносима, дом превращался в ад, и надо было снова ее класть в больницу, где ее болезнь опять глушили лекарствами, как рыбу глушат браконьеры в реке.

Выходя из больницы, она ходила в артель на работу; артель эта находилась при психдиспансере, там больные работали под наблюдением врача и цехового мастера; в этом цеху были швейные машины, больных учили шить постельное белье, потом учили их делать более сложные операции, например шить бюстгальтеры, гигиенические пояса; и все это потом отправлялось в магазины, и москвички хотя бы уже этим были осчастливлены, потому что, если бы эта артель не делала бюстгальтеры, то кто бы это делал, фабрики не любят копаться в таких мелочах, у них на этом горит предусмотренный план. Моя Соня и в этой артели показала себя очень способной швейкой, и когда болезнь на время покидала ее, она даже перевыполняла норму, но это было редко, чаще всего она слушала радио, за швейной машинкой часто пела и себе при этом дирижировала, так что строчка шла вкривь и вкось, большую часть дня проводила в беганни к телефону, звонила своим мифическим мужчинам; звонила также мне, будя своим ранним звонком и болтая всякую несусветную чушь; нередко разговор прерывался, и в трубке раздавался чужой грубый голос какой-то женщины, это мастер гнала Соню от телефона к машинке, Соня тоже отвечала руганью. Иногда мастер после работы собирала всех больных, и строем они отправлялись в культпоход, смотреть фильм; однажды я видела такую группу, было комично наблюдать, как небольшая шеренга растянулась далеко-далеко, всего их человек пятнадцать, последние, заблудшие идут на полкилометра позади передних, на пути останавливаясь, на что-то глядя тупым взглядом, и вряд ли мастер цеха всех соберет на сеанс; мастер тоже, вероятно, немного больная, у нее тоже тупое лицо, и на других больных орет громким голосом, Соня говорила, что их мастер тоже получает пенсию по болезни, но у нее третья группа инвалидности, самая легкая. А еще комичнее смотреть, как больные эти идут на первомайскую демонстрацию с флажками в руках, они разбредаются, кто куда, с разинутыми ртами и безумными глазами.

Мама долго не могла добиться для Сони как для больной пенсии, хотя у нее была второй группы инвалидность; кто-то сказал маме, что можно выхлопотать 18 рублей в месяц, совсем не лишних для семейного бюджета, но ей все одно отвечали, что Соня должна иметь сначала двухгодичный стаж работы. Наконец, или законы изменились, или Соня заработала стаж, но в 1972 году ей дали пенсию, да какую — целых 40 рублей! Правда, из-за этих сорока рублей у нее постоянная война с матерью, так как каждая хочет заполучить эти деньги себе.

Временами у Сони появлялись новые причуды, как-то летним утром часа в четыре я проснулась от утренней прохлады, открыла глаза и вижу у открытого окна ее силуэт, она уже одета, словно и не раздевалась, услышав, что я пошевельнулась, как будто давно этого ждала, подошла ко мне, нервными пальцами стала щекотать, чтобы окончательно я проснулась, и воскликнула: «Вот как хорошо, что ты проснулась, а я тебе принесла красивый букет», — и приносит мне из ванной действительно прекрасный букет из белых астр и георгин, она мне сунула прямо в нос понюхать, сон мой был прерван, уж больше не заснуть. С тех пор, как мы переехали со Смоленской в новую квартиру, она всегда спала в другой комнате и меня пугала своим внезапным приходом по ночам, как лунатик. Раз, уже зимой, я проснулась от какого-то голоса, открываю глаза и вижу ее в моей комнате, она сидела на полу около стены, волосы ее были растрепаны, она бормотала что-то и все повторяла: «Черт, это черт!» Она смотрела на свою тень на стене, и ей казалось, что это черт, она говорила все громче и наконец стала меня будить, хотя я давно проснулась и тихо за ней наблюдала, я не меньше была напугана ею, даже больше, чем она тенью мнимого черта: когда она приблизилась к моему лицу, я готова была спрятать свое лицо от нее, до того она была в это время страшная, фантастичная, чудовищная, она была похожа на самого черта, если он есть.

Соня часто выходила ночью на улицу и где-то блуждала подолгу, и мама решила на ночь ключ от

двери забирать себе, тогда Соня решила выйти на улицу из окна, сначала она выбросила с пятого этажа свою неизменную спутницу сумочку, а следом приготовилась выйти сама, хорошо, что мама совершенно случайно вышла по нужде и увидела, как она на кухне стоит у открытого окна, мама успела ее вывести из кухни и уложила спать. Родители спали очень чутко, часто мама подходила и проверяла. спит ли она, но ей все равно удавалось вставать и разгуливать по квартире, шуруя по кастрюлям, поедая всё, что было, иногда она не оставляла даже еды, предназначенной отцу на утро, и он собирался на работу голодный; по всей квартире она пускала дым от сигарет, она очень любила курить, ей хотелось вопреки прожорливости сбавить свой вес и стать тоненькой.

Однажды днем она прижалась к стеночке в большой комнате и что-то слушала, потом она позвала меня и с круглыми глазами, полными таинственности, сказала: «Послушай, в стене кто-то говорит». Я для вида подошла и послушала и сказала серьезно, что никто не говорит, тогда она снова прижалась и вдруг радостным голосом воскликнула: «Наконец-то он меня услышал, мой Робертино, это он, он мне говорит, что скоро приедет за мной, что услышал мое пение и очень восхищен, он непременно на мне женится, и я буду петь вместе с ним в Италии!» И все чаще ей слышался голос, говоривший ей что-то, большей частью любовное, он ей говорил о ее красоте, что она красивее всех на свете, всех талантливей и умней. Иногда Соня, со слов этого голоса, нам об'являла, что скоро совсем уедет от нас далеко, даже называла точное число, которое ей подсказывал голос, но проходило это число, и нечего она уже не помнила. Она была влюблена в этот голос до одержимости, ей уже казалось, что Робертино это я, и она смотрела на меня влюбленными глазами и обнимала меня со страстью, так что мне даже было страшно. В доме у нас была пластинка Робертино Лоретти, Соня слушала ее без конца, может быть, его голос, столь прекрасный, довел ее до такого состояния. Всем нам было очень тяжело видеть ее состояние и, говоря откровенно, жить

с ней, и родители снова отдали ее в больницу, но ее воображаемая любовь к Робертино Лоретти продолжалась несколько лет и выливалась в причудливые формы.

Когда я уже жила с мужем, Соня к нам пришла и рассказала, как, проходя по какой-то улице, увидела сильно пьяного молодого парня, он еле шел, падая на ходу, Соне стало очень жаль его, и она решила ему помочь и довести до дому, она со всей искренностью и охотой взялась за это, взяла под руку и повела его, по дороге она спросила, как его зовут, он назвался Витей, Соня поглядела ему в глаза и серьезно сказала: «Нет, неправда, вы не Витя, вы Робертино». И он тогда сказал, скромно потупившись: «Да, я Робертино Лоретти». Подошли к Итальянскому посольству, этот Витя, он же Робертино, пригласил ее в посольство, Соня сказала, что она «несоответствующим образом одета». И при этом она говорила с таким убеждением, что хотелось ей верить, хотя мой муж все же с мелочным педантизмом пытался ее разоблачить, что итальянское посольство не на той улице, где она якобы проходила, но Соня об'яснила, что перепутала улицу. В другой раз она рассказала о своем необычайном приключении, как она познакомилась с одним индусом, гуляя около посольства, и все время говорила ему об искусстве, о своих стихах, а потом упомянула якобы обо мне, что я художница, и пригласила его к нам на другой день, но в ее рассказе все путалось: посольство превращалось в гостиницу, индус в армянина, и было ясно, что все это снова ее больное воображение; может быть, действительно она познакомилась с каким-то армянином, но уже вообразила его индусом, ей нравилось, видимо, еще само слово «посольство», и она его произносила со значением.

Она очень гордилась, что у нее такая сестра, как я, что я художница, а мой муж писатель, и любила это кому-нибудь при встрече рассказать, а нам рассказывала свои фантастические истории, о своих воображаемых мужчинах и приключениях с ними, и сама в эту выдумку искренне верила, хотя иногда, вероятно, сознавала, что это выдумка. Мужчин, в

которых она влюблялась, она всегда находила первая и назначала им свидания, свидания назначала почему-то возле туалета на Смоленской площади. Когда она шла по улице, ей всегда казалось, что все мужчины на нее смотрят и в нее влюбляются.

На почве любви она вдруг стала сочинять стихи, посвященные Робертино Лоретти, и приносила их к нам, показывала моему мужу и просила непременно издать эти стихи в Италии, она страстно его просила об этом, устрашая своим огромным телом и размахивающимися руками; он дал согласие издать в Италии, чтобы только ее успокоить, и каждый раз, когда она приходила к нам со своими новыми стихами, она все время спрашивала у него, напечатаны ли в Италии ее стихи, мой муж с усердием кивал головой в знак утверждения, и она мечтательно вскидывала глаза и говорила, что вот теперь ее Робертино узнает из этих стихов, что она его любит. В связи с этими стихами и Сониной привычкой подходить к незнакомым мужчинам произошел забавный эпизод. К математику и поэту Александру Есенину-Вольпину, когда его поместили в психиатрическую больницу из-за его протестов в защиту прав человека, на прогулке подошла очень крупная девушка с восточным лицом, будучи привлечена его бородатым и ученым видом, и сказала ему, что она поэтесса и ее стихи печатаются в Италии. Есенин-Вольпин серьезно ответил, что он тоже поэт, но стихи его печатаются в Америке, он спросил, как напечатали ее в Италии, она: «Мне помог мой зять Амальрик, совсем скоро я выйду из больницы и поеду в Италию». Он на это улыбнулся и сказал ей, что если она будет говорить так, то вряд ли скоро отсюда выберется. Об этой встрече Есенин-Вольпин, который слышал о моем муже, с удивлением рассказывал своим друзьям по выходе из больницы. Хотя моя сестра ни в какую Италию, конечно, не уехала, сам Есенин-Вольпин уехал в 1971 году в США.

Соня была не совсем удовлетворена только стихами, она решила написать книгу о своей жизни с раннего детства, о своем решении она немедленно сообщила мне и моему мужу, на что он сказал ей, что

это, вероятно, будет нечто вроде «Детства, отрочества и юности» Льва Толстого, Соня с азартом сказала: «Да, да!» — хотя Толстого ни слова не читала, и с тех пор свою будущую книгу всегда называла «Детство, отрочество и приключения», иногда «приключения» заменяла на «похождения», слово «юность» или просто выпало у нее из головы, у нее это часто бывает, или же она хотела, чтобы ее название чем-то отличалось от толстовского. Мы не верили, что она напишет хоть строчку, но однажды она принесла нам свои воспоминания, правда настолько короткие, что я привожу их здесь целиком:

«Была ясная летняя погода, светило солнце, дети резвились во дворе, было 7 июля, 12 часов дня, меня мать родила. Детство мое было безрадостное, я не видела ничего радостного в детстве, и вот однажды отец пришел пьяный и запустил в мать галошей. Отец нас в детстве очень бил, часто пил, и жили мы в старом доме, в двенадцатиметровой комнате, четверо детей и мать с отцом, всего шесть человек. Было тесно, спали на полу.

У меня есть старшая сестра, она плохо училась и кончила только пять классов, но у нее был талант к искусству, она хорошо рисовала, и у нее был учитель, хороший художник, у нее много было друзей и подруг. Но вот она выросла и стала очень хорошенькой, в нее многие влюблялись, она была стройна, высока и глаза как уголья.

Но вот однажды меня не было дома, а когда я пришла домой, то ее дома не застала: она убежала куда-то, и довольно далеко, мы сами не знали, куда она запропастилась. Взяла чемодан и умчалась на всех парах, не сказав «до свиданья».

Прошел уж год, а мы писем не получали целый год, и вдруг является она с чемоданом в руках, бледная, расстроенная и похудевшая. Мать спросила: «Где ты была?» «В Сибири я была, с Андреем вместе!» . . .

На этом рукопись обрывается.

Надо сказать, что у всех нас, кроме младшей сестры, есть желание писать, вернее некая потребность в этом, может быть, это прадедовская кровь говорит.

Соня и Мансур несомненно по своей природе талантливые, но они росли в беспочвенной среде, в полном непонимании со стороны родителей и школы и вообще в атмосфере общего безразличия, все их хорошие зачатки не смогли вылиться в творчество, и от безысходности и безвольности вылились лишь в ужасную болезнь, шизофрению. Мне очень жаль брата, который сошел с ума недавно и на моих глазах, в то время как Соня уже давно была больна и нагнетала и без того уже напряженную обстановку. Атмосфера у нас в доме была самая напряженная: все раздражительны, настолько агрессивны, что можно было уже всю семью класть в больницу; может быть, родители способствовали прогрессированию болезни у Сони и Мансура, родители никогда не говорили спокойным и ровным голосом, а всегда тоном ругательным, приказывающим, а то и просто об'яснялись побоями; если кто-то из детей сделает нехороший поступок, родителям поэтому никто не признавался, мало того, провинившийся даже себе самому не признавался, а сваливал на других, тем самым как бы оправдывая себя; я помню, из-за страха родительских побоев у меня постепенно выработалось такое чувство, будто я не виновата ни в чем, но зато развилось сильное чувство обиженности и отчужденности. Так и у других детей.

## ПРОГУЛКИ

В детстве я очень любила ходить одна на прогулку в сторону набережной, она находилась совсем рядом от нашего дома, за домом, в котором я жила еще младенцем, в подвале которого я видела страшную женщину до потолка; там был высокий забор и была лазейка, через которую я пролезала, перебегала трамвайную линию и выходила на набережную Москва-реки. Возле этого дома стояли длинные деревянные бараки, откуда высыпали всегда солдаты, а за бараками и за этим домом открывалась широкая, всегда солнечная песчаная набережная, можно было подойти к самой воде; я любила еще очень, когда шли по реке огромные баржи с домиками, с машинами грузовыми, они шли страшно медленно, до бесконечности, и это был для меня целый плавучий остров, плавучий мир, и пароходный гудок ревел и гудел, разрезая воздух; мне казалось, а может это действительно было так, что мои волосы при этих звуках поднимались кверху вместе с телом, как бы взлетала я, волны стремительно приближались ко мне, мне казалось, что они и меня увлекают в неведомое, и я цеплялась за красивые камушки, оставленные мне волнами; я любила собирать эти камушки, на песке я часто находила каменные пальцы. Мои подруги, когда были со мной, говорили про эти камни, что они чертовы пальцы; они действительно напоминали палец с острым концом, можно было даже чуть сунуть внутрь свой палец; подруги меня всегда старались напугать, что черт увидит на моих пальцах его пальцы и заберет меня к себе, мне было чуть-чуть страшновато, но я не хотела бросать, мне было интересно, что будет дальше, но ничего не было, и я уже не боялась; я не знаю до сих пор, что это за камни, их было много на песке; очень много было на песке раз-

ных улиток стыдливых, они прятались, когда их берешь в руки. Возле солдатских бараков был котлован очень глубокий, глубиной метра четыре, и залит водой, из воды вылезали камыши, цветы, стены котлована заросли густой травой, я часто там купалась и гонялась за дивными стрекозами и бабочками, я всегда проводила время там, подальше от двора и противных мальчишек. Вечерами возле бараков всегда солдаты сидели с женщинами, я помню, часто эти женщины, краснолицые, с красными руками, сидели в обнимку с солдатами и при этом щелкали семечки, очень часто они плясали, пели частушки. Как-то раз вечером, уже совсем стемнело, я гуляла возле котлована и хотела спуститься вниз к воде, и вижу — внизу на воде плавали белые тела младенцев, они мертвые были; мне стало страшно, и я скорее ушла домой. Это было время, когда были запрещены аборты.

Когда моя последняя сестра Халида, или Галя, стала подрастать и становиться красивой девочкой — она была особенно красивой в три-четыре года, — она была моей гордостью, она была кудрявая, с очень светлыми волосами и черными глазами, как вишни, лицо у нее было белое, чистое и милое. Я с гордостью водила ее на прогулки, прохожие часто оборачивались и смотрели на нее, некоторые даже угощали ее конфетами, мне страшно нравилось ее всем показывать, контрастом для ее красоты был мой уродливый вид, смуглое лицо, очень кривые ноги и испуганные глаза, вид у меня был такой, будто на меня что-то давит, что-то падает; наклонив голову на бок, я имела весьма жалкий вид; прохожие часто спрашивали про мою сестру, кто она, такая красивая, я с радостью и гордостью отвечаю, что это моя сестра; некоторые иногда не верили в это. В детстве я никогда не видела себя в зеркале, но однажды во дворе нас, девочек, кто-то сфотографировал, я увидела себя на снимке и ужаснулась, я готова была плакать и с тех пор я считала себя уродиной и чувствовала себя уродиной, и потому от моего чувства мое уродство чувствовали все; в будущем я, к радости своей, освободилась от этого угнетающего чувства.

С этой красивой сестрой Галей я ходила в детский Шмидтовский парк, там были всевозможные игры, качели разные и даже был открытый театр, в котором часто выступали пионеры, ставились детские пьесы, пели детские песни; был большой бассейн, только за пользование им нужно было платить, кажется один рубль в час (теперешние 10 копеек). Детский парк с различными развлечениями был самым интересным для нас в детстве, он нам заменял и маму, и папу, нас тянуло туда, потому что не было у нас в доме ни одной игрушки, во дворе тоже не было ничего интересного для меня, так я часто ходила, иногда одна, иногда с сестрами в парк или на набережную к котловану, где можно было купаться, ловить бабочек.

## ТАТАРСКИЕ И РУССКИЕ ПРАЗДНИКИ

Татарские праздники мне особенно памятны тем, что они довольно резко отличаются от русских праздников своей религиозностью и традиционностью. Я особенно не вдавалась в значение каждого праздника и потому расскажу об этом в общих чертах, как я видела эти праздники с детства. Я расскажу о нашем большом празднике Великом посте, который бывает в марте, в пост нужно целый месяц поститься, от звезды до звезды, все остальное время можно есть, но пить вина нельзя. Мужчины ходили в мечеть молиться, а женщинам нельзя заходить в мечеть, только старушкам можно входить внутрь, а молодые женщины стоят во дворе храма и тоже молятся. Нас, детей, туда не брали, потому что к храму трудно подойти, кругом оцеплено милицией, чтобы был порядок, и мусульмане шли длинной цепью в храм; помолившись, они выходили, давая идти другим; у дверей мусульмане снимали свою обувь. Все это я слышала от моих родителей, но видеть не видела в детстве, по рассказам родителей я и представляла себе эту мечеть; родители хотели меня взять туда, когда я стала уже взрослой девушкой; в этот праздник к храму съезжалась молодежь в нарядных одеждах, они шли туда, что называется, увидеть других и себя показать, и поэтому я сомневаюсь, что они идут из религиозного чувства; и когда мои родители приходят оттуда, первым делом у них на устах описание людей, кто в чем одет, каких родственников они встретили, и приносят кучу разных сплетен, и мне потому и не хотелось туда идти, как бы на смотрины. Я посмотрела мечеть только в 1972 году, уже давно будучи замужем, сходила туда с мамой.

Моих родителей часто спрашивали, почему не берут свою старшую дочь, которую уже можно пока-

зать и познакомить с юношами, но меня не привлекало это, я в юности боялась многолюдности и не любыла, к тому же я неуверенно чувствовала себя, как я уже писала. Я думаю, что татарская молодежь вообще была религиозно индифферентна, осталась не вера в Бога, а всего лишь культ Бога, молодежь ходила к мечети как на зрелище, ничего другого нет в Москве для татарской молодежи, татарского театра нет, нет газеты, нет клуба, и мечеть является единственным центром небольшой татарской колонии, которая держалась изолированно от русских.

Весь Великий пост татары должны были созывать гостей, по вечерам; когда у нас бывало много гостей, я старалась уходить из дому, чтобы избежать праздных вопросов, я знаю, часто у гостей бывает деланное внимание к детям. Самым важным гостем из всех считал себя мой двоюродный дядя, очень чванливый, он действительно выглядел очень важно, похож был на солидного коммерсанта, высокого роста, полный и красивый; мне всегда казалось, что, когда он говорит с кем-то, то скорее слушает свой голос, чем собеседника, любуется сам собой и своими словами, округлыми движениями своих мягких рук, он все как бы округлял вокруг, и своими большими глазами и выразительными он охватывал всё; в нем была сентиментальность поэта, когда он говорил с женщинами, и многим женщинам он нравился, хотя был женат и имел кучу детей; его остальные родственники действительно уважали, во-первых, за то, что он богатый, во-вторых, за то, что он очень тактичный и обаятельный человек; мне казалось, что что-то артистическое в нем есть и хорошо выработанное; я его любила больше всех остальных гостей, с ним можно было говорить о моих предках, о татарских поэтах, он очень любил Габдуллу Тукая, он считал его равным Пушкину.

Хотя я имела тайную веру в некоего высшего духа, у меня не было ни малейшего желания идти в сторону мечети, чтобы отдаться Богу в своих молитвах, я это делаю везде, где нахожусь сама с собой, и поэтому совсем не обязателен сам механический процесс молитвы, получается действительно уже, как я думаю,

несколько театрально, половина молитв твоих уходит на бессмысленные движения, а не к Богу. Впоследствии у меня появились странное влечение и интерес к русской церкви, к иконам и в особенности к церковному пению; я помню, однажды я была в церкви с моим учителем, художником, и он, глядя на меня, сказал, что мне идет находиться в церкви, и почему-то меня представил девочкой смиренной со свечой в руке; я была потрясена хором и огромным залом, стены которого увешаны великолепными иконами, и кругом горят свечи, как бы говоря о чем-то светлом и высшем; вот тут я почувствовала в себе божественное волнение, и тело мое трепетало, словно хотело улететь ввысь, и я заплакала от чувств своих. В русской церкви я утвердилась в своей вере к Богу, к мученику Иисусу, я нашла его вот здесь, в русской церкви; я сама была потрясена своим открытием и была очень благодарна моему учителю за то, что он меня в церковь привел. А над моими родителями я всегда смеялась дома, смеялась над их мнимой верой в Бога, ведь в то же время они совершали такие поступки, которые бы истинно верующий не делал, мои разоблачения всегда очень злили их, особенно моего отца; я помню еще, будучи семнанцатилетней, я сказала маме моей, почему она сделала много абортов, ведь это грех убивать живое существо, на что мама ответила со вздохом: «Если бы ты понимала жизнь, ты мне так не сказала бы», — и она после этого очень долго со мной не разговаривала; конечно, сейчас я бы так маме не сказала.

Я хочу рассказать немного о татарских свадьбах, на которых я бывала с детства; обычно, когда бывает чья-то свадьба, всегда бывает много народу, и откуда только берется столько татар, и обычно каждая семья, приглашенная на свадьбу, берет еще своих детей; все дети друг с другом знакомятся почему-то под столом, потому что для маленьких детей уже нет места за столом, и там под столом они устраивают свои игры. Вот я помню, как я очутилась под столом, мне страшно хотелось увидеть невесту, ведь невесты, по моему детскому мнению, должны быть очень красивые, как пери; я сидела на коленях у мамы, и у меня

глаза разбегались от обилия разных блюд, мне хотелось все попробовать, но все ждали невесту и жениха, все говорили о них, усердно расхваливали его и ее, и было за столом волнение, движение, веселые возгласы, и наконец появляются жених и невеста. Я очень удивилась, когда увидела некрасивую и длинноносую невесту, и громко сказала маме: «Какая же она невеста, она не похожа на невесту, она похожа на ведьму!» Мама так и подпрыгнула на стуле от удивления, а потом зашипела на меня и прогнала опять под стол для наказания, так я и не попробовала всяких кушаний за столом, я только под столом слушала, как идет свадьба. Слышу, кто-то поет припевки для жениха, сразу на ходу складно сочиняя слова хвалебные, потом певец с тарелкой в руках идет по кругу с этим пением, а в тарелке два бокала — для жениха и невесты, певец собирает с каждого деньги, кто сколько положит на тарелку, сначала клали у женихова бокала. Надо сказать, каждый тут старался показать, что он не беднее другого, и искоса поглядывает каждый, сколько дал сосед или соседка; это я поняла еще по тому, что родители мои по дороге домой с ближайшей родственницей говорили, что мы положили не меньше других, хотя мы и бедные, а потом вспоминали, кто сколько положил на тарелку; мне почему-то очень неприятно было это слушать, какой-то мелочный разговор. Когда певец, наконец, обойдет круг и соберет деньги для жениха, он наливает в бокал для жениха вина и при этом от имени всех гостей поет припевку для жениха, и все, подпевая ему, поют хвалу и славу жениху; затем певец обходит снова круг, на этот раз уже собирая для невесты, и также поет хвалебную песнь для невесты. Я из под стола вылезала и смотрела на носатую невесту и довольно красивого жениха; они стояли, скромно потупив головы; певец наливал вино для невесты в бокал, и жених с невестой целовались на глазах у гостей, а потом они пьют каждый свой бокал до дна, и все гости кричат: «До дна! До дна!» — а потом все гости поют какие-нибудь песни хором, и это красиво. Надо сказать, что, кроме денег, гости приносили еще множество подарков — одежду, по-

душки, белье постельное, одеяла, посуду, настенные часы, и в отдельной комнате все это лежало горой.

Русские праздники от праздников татарских отличались тем, что утратили если не традиционность, то самобытность, русский дух, и теперь в современных праздниках есть что-то безликое, тоскливое и потерянное, теперь на смену дореволюционным религиозным праздникам настали праздники с военными парадами, длинными речами и патриотическими маршами. А народ встречал эти праздники с какой-то особенной отчаянностью, хоть бы в праздники погулять, и закупают на последние деньги водку, закуски, мол, мы тоже не хуже других умеем гулять, пускаются в доме в пляс, и с этим плясом и пьяными песнями выходят на улицу, вот и мы, мол, не хуже других гуляем, и с пьяной любезностью обращаются праздно к прохожим, а в домах пьяный угар и орет своими трубными звуками радиола: «Мишка, Мишка, где твоя улыбка?» или «Джонни, ты меня не знаешь!» И эти песни почти из каждого окошка раздаются все громче и громче, и воздух наполнен спиртным угаром и звуками радиол; спастись от этих звуков было просто невозможно, в доме эти звуки со всех четырех сторон, а на улице изо всех окон, и в этом было что-то жуткое и даже трагическое.

Русские пьют и без всякой связи с праздниками, устраивая каждый сам для себя праздник. Когда вот так идет один-оденешенек пьяный человек, руками размахивает и песни свои орет, а то ругает кого-то, мне становится жаль его, я думаю, не от хорошей жизни человек так сильно пьет и так ругается, он прохожим об'ясняет, как он любит свою Россию и что он патриот, но что он только не за коммунистов, потому что они делают все плохо, потому что он, сколько не работает, все не хватает денег прокормить семью, хотя и жена работает, а концы с концами не сводят, потому что негде даже с другом поговорить, в комнате у него жена и дети, на улице тоже не очень-то поговоришь по душам, ведь сейчас негде посидеть хотя бы просто за кружкой пива и говорить, говорить, отвести свою русскую душу, а попробуй поговори чуть погромче, попробуй выложи свою душу,

ты за милую душу в тюрьму угодишь, а дома с кем можно поговорить по душам, с женой, у которой своих забот хватает? Действительно, после работы, с детьми, всякой домашней работой жена даже забывает про существование мужа, откуда же взять это внимание, если женщина так перегружена, что ей некогда посмотреть хоть мгновение на себя, и идет этот пьяный мужик в совершенно другом направлении от своего дома, выпив на последние деньги, он не хочет слышать каждый раз упреки ее.

Праздники революционные меня скорее угнетали, нежели радовали, в праздники я хотела одного: на время праздников заснуть, а потом опять проснуться и тихо радоваться всякому дню.

## ОТВРАЩЕНИЕ К ШКОЛЕ

В школе мои дела шли из рук вон плохо, слушала урок я очень невнимательно, рассеянно и потому часто не знала, о чем говорит и что требует учительница, особенно плохо у меня было с арифметикой, я бессмысленно переставляла цифры и делала самые фантастические решения, так что моя учительница затем при проверке в злобе ставила по всей странице единицу. Самым мучительным, однако, для меня было, когда меня вызывали к доске, и весь класс, как мне казалось, смотрел на меня; нечего было и думать, что я на доске решу задачу, которую и в своей-то тетради не могла решить, я долго топталась и пыхтела, все время стирала написанное, и однажды я настолько напряглась от неосуществимого желания решить задачу, что лопнула резинка и с меня соскочили трусы. Хотя у меня от стыда все заволокло перед глазами, я сначала посмотрела на класс, но, казалось, никто ничего не заметил, тогда я выдернула из-под ног свои трусы и стала ими, как тряпкой, стирать с доски злополучную задачу. Вообще я была ужасная растеряха, то теряю свои жалкие одежды, то тетради, то деньги, когда родители посылали меня в магазин, однажды я потеряла 100 рублей (теперешние 10), тогда эти деньги считались очень большими, на них можно было прожить экономно несколько дней; со страху я боялась идти домой, полдня я проплакала возле магазина.

Я вспоминаю, что учительница почему-то очень любила сажать своих отличников-любимчиков в первых рядах и на первых местах, тогда как невнимательные и плохо слушавшие ученики сидели на самых задних партах, так что учительница не могла даже видеть их, а ученики тем более ничего не могли слышать и видеть, но я как раз любила сидеть на задних местах, чтобы не быть в поле зрения учитель-

ницы, там я могла рисовать или читать сказки за спинами учеников. В школе для девочек я проучилась до третьего класса, эта школа находилась близ Смоленской площади в переулке, где звенели трамваи; я ездила в школу на трамвае несколько остановок. В 1954 году осенью, когда стали девочек об'единять с мальчиками, я попала в другую школу, поближе к моему дому, в пяти минутах ходьбы. Мальчики, конечно, внесли в класс какой-то беспорядок, шум, короче говоря, анархию, но если сказать по справедливости, то и в какой-то мере разнообразие и свежесть; девочки были, как я помню, вообще малоинтересные, очень сильно находились под влиянием учительницы, отличницы вели себя чопорно, подхалимничали перед учительницей, и все они были просто ябеды, а в мальчиках, наоборот, было отрицание, фантазия, и редко когда они ябедничали.

Однажды у нас в классе появилась девочка, она приехала из другого города в Москву, девочка была необычайно тихая, скромная, я уже забыла, как ее звали, она училась не то чтобы плохо, но и не хорошо, иногда были у нее и двойки, но я помню, она никогда не плакала, а только крепко сожмет до крови губы и долго смотрит перед собой, она была смуглая, с грустными глазами черными, мне она почему-то очень нравилась, но она ни с кем не дружила и держалась в стороне от всех, и это вызывало у многих любопытство и внимание к ней; прозвище ей дали «богомолка», после того, как однажды на уроке физкультуры кто-то из девочек заметил у нее на шее крестик на тоненькой цепочке, и тотчас стало известно учительнице, около учительницы сразу же собралась куча девочек и мальчишек, и что-то таинственно они шептали нашей учительнице, потом учительница всех разогнала из класса и подошла к этой девочке. Я слышала их разговор, потому что была наказана за что-то, может быть, за невыполненное задание, и должна была сидеть в классе; я слышала, как учительница у нее спросила, верит ли она в Бога, хочет ли она стать пионеркой, ведь если она будет продолжать верить в Бога и вешать крест на шею, то ее не примут в пионеры, она будет недостойна носить гал-

стук. «Это стыдно!» — воскликнула громко учительница и сказала, что намерена встретиться с ее родителями, но девочка на все это ничего не ответила, а только крепко сжала губы и опустила голову; с этого момента она стала для меня таинственной и недоступной вовсе, я чувствовала к ней уважение и невидимое ни для кого какое-то родство с ней; правда, после разговора с учительницей крест она не стала в классе носить, она, к сожалению, училась всего только год, а потом исчезла так же неожиданно, как и появилась.

В пионеры меня принимали в четвертом классе; хотя я и училась плохо, но наш класс дал обязательство, что в новом году не должно быть не пионеров, все должны быть пионерами и только пионерами, и меня вытянули в пионеры; я, помню, очень боялась стать пионеркой, мои родители тогда меня не пустят домой, но учительница, можно сказать, насильно приняла, против моего желания, даже галстук мне купили на общественные деньги, достали откуда-то дешевый ситцевый. Перед принятием в пионеры нам — всем самым плохим ученикам в классе, которые принимались в пионеры в последнюю очередь, — дали выучить новый завет «клятва Ленину», этот завет, очень нудный и долгий, заключался в том, что обещаю хорошо учиться, помогать октябрятам, беззаветно любить Ленина и Сталина, получать только пятерки и четверки и еще множество длинных обещаний, чего я уже не помню решительно, а потом, после данных обещаний, пионервожатая подняла руку к вискам и провозгласила: «Пионеры, к борьбе за дело Ленина-Сталина будьте готовы!» — и мы все, отстающие ученики, должны заученно ответить: «Всегда готовы!» И так нам повесили галстуки; мне стало непривычно, неловко чувствовать на себе этот галстук; учительница с гордостью в классе сказала: «Вот теперь наш класс передовой, все пионеры». По дороге домой я галстук свой в портфель спрятала и родителям не говорила о принятии меня в пионеры, и только через год, может быть, родители узнали, и отец особенно злился, он говорил мне, что теперь я безбожница, раз я пионерка, и это дороже станет мне,

что я променяла Аллу всевышнего на галстук, на эту красную тряпку, и он разорвал этот галстук; мне-то было все равно, но я не могла ему доказать, что иначе я не смогла бы находиться в школе, что я сама не хотела быть пионеркой, но отец и слушать не хотел ничего, а только кричал, кричал.

Но хотя я и стала пионеркой, училась я так же плохо, как и до принятия в пионеры, такое высокое звание, как пионерка, так и не помогло мне повыситься в учебе, и я оставалась почти в каждом классе на второй год, а потом мне и вовсе надоело ходить в школу, я считала, что напрасно только теряю драгоценное время, что в школу ходить просто неинтересно, что лучше и интереснее для меня было бы сидеть дома и рисовать или смотреть на зеленые обои и различать невидимые узоры сказочных образов. Тем более я с каждым годом школьное время переносила все тяжелей, я стала взрослеть, а с возрастом у меня обострилось, видимо, уже с самого детства незаметно развивавшееся чувство собственной неполноценности, я стыдилась своей внешности, своей уродливости, высокого роста, длинных ног и рук, острых локтей, стыдилась своей национальности, хотя русской я тоже не хотела быть, но стеснялась татарской, как мне казалось, некультурности и примитивности.

## ПОДРУГИ

Однажды я долго ломала свою несчастную голову над арифметической задачей и никак не могла решить сама — с арифметикой у меня было настолько плохо, что я уже окончательно себя считала тупицей, и со мной часто возились по арифметике то учительница, то ученики, то соседские девочки, — и я решила сбегать к какой-нибудь девочке за об'яснением, и как нарочно тех, к кому я обычно ходила за помощью, не было, и в панике — вот уже пора идти в школу, а у меня не решена задача — я вспомнила, что внизу на первом этаже живет девочка старше меня года на три; хотя она на меня производила неприятное впечатление всегда злой, насмешливой и ехидной, всегда воображала себя умней других и потому держалась свысока, я, затаив про себя свое мнение о ней, пошла к ней. Она была как раз дома, меня у двери встретил поразительного размера кот, он был до странности похож на эту девочку, с ненавистными глазами, и всё на меня у двери шипел, кот был очень пушистый. Я была очень обрадована, что Аля — так ее звали — дома и что она согласилась мне помочь; прочитав задачу, Аля обстоятельно мне об'яснила ее суть и буквально разжевывала мне в рот, но я оставалась совершенно безучастной ко всему этому, она даже приводила примеры из жизни реальной, но передо мной стояли только голые абстрактные цифры, и эти цифры мне казались космосом. Тогда она мне дала просто решение задачи, и я списала и, поблагодарив ее, пошла в школу, но на другой день я снова была у нее и делала там уроки; я не знаю, почему меня тянуло к ней, может быть, она была для меня авторитетом как старшая подруга, может быть, меня привлекало в ней то, что она рисовала и показывала мне свои рисунки.

Аля росла без отца, жила только с матерью, мать ее с утра до вечера бывала на работе, и она была предоставлена сама себе на целый день, она сама грела и даже что-то нехитрое готовила себе, ей было скучно есть одной, и поэтому она часто меня звала к себе поесть вместе с ней, я-то была всегда голодная, и я помню, с каким счастьем я ела у нее покупные котлетки, колбасу, жаренную ею самой картошку. Она в этом отношении была не скупая, но вообще она была очень странная девочка, она меня всегда злила своей самоуверенностью, высокомерием, с каким она ко мне относилась, она и с матерью так разговаривала — тоном всезнайки, и презрительно на всё фыркала; лицо у нее было желтое, острое и костистое, со злыми жгучими глазами, небольшими, как буравчики; она любила показать передо мной свою значимость, всегда спорила и любила, чтобы последнее слово оставалось за ней; мне всегда казалось, что в ней есть что-то нечистое, противоестественное и развращенное; например, я замечала, как она вроде бы незаметно от меня ковыряла в носу и козявки потом брала в рот, еще заметила ее нехорошую привычку нюхать свой пот из-под мышек, но самое странное для меня в ней было то, о чем я сейчас расскажу.

На улице было очень хододно, уже была осень, шел леденящий дождь, домой не хотелось идти, и я решила зайти к ней, она была моему приходу даже рада, она спросила, голодна ли я, и с радостью и готовностью мне дала поесть; в доме было тоже очень холодно, и она предложила мне ложиться в кровать погреться, мы с ней сняли платья и легли; стали о чем-то разговаривать, я уже не помню, о чем, потом она полюбопытствовала, какие у меня груди, мне стало стыдно, что она меня спрашивает об этом, у меня очень поздно обозначились груди, кажется только лет в пятнадцать, но тогда мне было только тринадцать лет; она без стеснения стала у меня проверять, а потом она предложила мне потрогать, какие у нее груди; я почему-то страшно застеснялась, она мне показалась какой-то странной, любопытной и нахальной, я не решалась трогать ее груди, мне было даже страшно, потому что я привыкла к тому, что

у меня нет грудей, я думала, что так и надо, и когда она сказала, что у нее уже большие, и все предлагала мне потрогать их, мне казалось странным иметь на ровном месте какие-то шишки; она тогда, видя мою неловкость и страх, говоря мне, что ничего нет страшного тут, называя меня трусихой, взяла мою руку и стала водить ею по шишке мягкой; у нее груди были очень большие для шестнадцатилетней девушки, и на кончиках грудей были, как пуговки, пупырышки, и она долго так водила моими руками по своей груди; я в страхе вырывала руки, она меня стыдила, что я боюсь и трушу простой игры и шутки, так что я немного успокаивалась и даже в какой-то степени покорялась ей как старшей; она мою руку опустила еще ниже, ниже живота, и там я еще сильнее испугалась и сильно укололась обо что-то колкое, как щетка, я даже взвизгнула от неожиданности и страха, но она меня даже назвала дурой, что я такая бояка, и сильнее ухватилась за мои руки.

Вот так погревшись, я ушла от нее; то, что она таким образом играла и шутила, как мне казалось, не вызвало у меня подозрительности, потому что для подростков естественен интерес к метаморфозам в природе, но после я поняла эту сцену с Алей немного по-другому, я поняла, что в этом был еще какой-то элемент, но слово я не могла найти, и только впоследствии я узнала, что такое слово означает «лесбиянка», и это слово меня увлекло в прошлое, в детство, к этой странной девочке Але. Теперь я припоминаю, как одна ее ровесница и подруга мне как-то очень загадочно говорила про нее; эту подругу звали Галей, она была очень некрасивая, веснушчатая, широколицая, но добрая и приветливая; когда она была в ссоре с Алей, она мне намекнула про Алины странности, но я тогда не очень понимала, про что она говорит, а только смутно догадывалась, я вспомнила про свою сцену с Алей и смутилась и перевела разговор в другое русло, я подумала, что Аля, наверное, так же играла с этой Галей, как со мной. Несмотря на то, что я испытывала к Але какую-то мне даже непонятную ненависть, я продолжала к ней ходить, и в этом была ее явная власть надо мной, она даже

могла надо мной издеваться, смеяться во время наших занятий по арифметике, я все это терпеливо переносила.

В нашем дворе была девочка по имени Арина, она была моложе меня на полтора или на два года, я ее как-то не замечала, она все мне казалась пигалицей и некрасивой, она была очень маленького роста, почти как ребенок, но зато ее папа был очень интересным, на мой взгляд, человеком, он внешне был похож на писателя или музыканта, длинные и черные, как у ворона, волосы, приглаженные назад, часто непослушными густыми прядями спадали на виски, в очках роговых, и острые черные глаза всегда смотрели внимательно на детей, когда он проходил мимо них; иногда он даже принимал участие в играх, несмотря на то, что ему было под пятьдесят; он любил детей и умел шутить с ними, черные глаза при этом у него всегда очень хитро блистали. Как-то я подошла к нему спросить, где Арина, а он: «А, это ты, а ну-ка подойди сюда поближе». Я нерешительно подошла, и он спросил у меня: «Сколько лет вы нас мучали, татар-матор-губернатор?!» — и грозно на меня посмотрел. Я стою и молчу, я не ожидала такого с ним разговора и такого странного вопроса, тогда он вновь еще грознее спросил меня о том же, я стою, опять молчу и уже чуть не плачу, тогда он сказал мне: «Гм, не знаешь, сейчас скажу тебе: вы нас мучили триста лет, татар-матор, да, а теперь повтори, сколько лет вы нас мучали». И я, дрожа и плача, повторила, медленно растягивая: «Трыста...» — и тут он так страшно закашлялся, начался у него приступ астмы, и долго он в слезах мучался кашлем, а я тем временем понемногу успокаивалась и жалела его, он красный, весь в слезах. Хотя я испугалась его вопроса, все же мне было приятно узнать, что когда-то и татары мучали русских, а не только, как мне казалось, русские татар.

Иногда я заходила к Арине, у них была в доме фисгармония, и я любила играть на ней, фисгармония была похожа на орган в миниатюре, очень красивого вида, я научилась играть на ней собачий вальс, быстрый такой, та-та-та та-та, и еще «Чижик-пыжик,

где ты был?», все это я играла без нот, так как нот не знала, просто я запомнила расположение клавиш, я смотрела, как играла Арина, а потом повторяла за ней. Ее отец, дядя Боря, был действительно музыкант, у него был даже собственный оркестр, который он организовал с помощью своих друзей, музыкантов-любителей, и с этим любительским оркестром он выступал в разных местах; раз Арина даже похвасталась мне, показав замусоленную газету, не помню уже какую, и в ней помещен фотоснимок его оркестра, дирижер был дядя Боря, на снимке вдохновенно сверкали роговые очки, сквозь которые смотрели остро черные глаза; такие концерты мало кормили музыкантов, и они вынуждены были работать где придется, дядя Боря зарабатывал тем, что настраивал знаменитым музыкантам и просто музыкантам инструменты, и тем кормил себя и семью. Вскоре он умер в больнице от астмы, мне было очень жаль его, после смерти было как-то странно не слышать его привычных шуток; мать Арины торговала пивом в ларьке и быстро опустилась после смерти мужа.

С Ариной я дружила отрывочно, больше общалась со своими сверстницами, они надо мной смеялись, что я дружу с такой пигалицей, я действительно на нее всегда смотрела сверху вниз, но с ней мне было гораздо приятнее, чем с другими подругами. Арина любила очень музыку, как и я; она очень любила книги, ее отец научил читать книги, любить Пушкина, Лермонтова, она запоем читала; что мне нравилось в их семье, это то, что, когда еще жив был отец ее, он или мама ее по вечерам читали вслух какую-нибудь книгу, и все слушали; по традиции ее семьи Арина любила читать мне книги. Однажды мы с Ариной пошли в Пушкинский музей на Волхонке смотреть картины, о, это было чудом для меня, самым роковым моментом и самым счастливым днем моей жизни, я верила в этот счастливый рок, уже в детстве я предчувствовала то, что потом наступило. Я уже не помню, что больше меня поразило — картины или сам музей с прекрасными картинами, скульптурами, с расписанными потолками, все для меня было ново, дивно и в то же время как будто знакомо с самого детства, так

я думала, быть может, это было то, чего еще неосознанно желала моя душа, по музею я ходила, как пьяная, взяв руку Арины судорожными и нервными руками. Я помню, что часто Арина меня оттаскивала от картины, потому что она уже была преутомлена от впечатлений, сейчас уже не помню картин, которые я видела, это было давно, мне было лет четырнадцать, я помню то общее впечатление и тот восторг, который обладел мной, видимо, это сильное впечатление отразилось на всей моей дальнейшей судьбе. Надо прямо сказать, что моя дружба с этой пигалицей, как ее называли, не прошла даром для меня, и я ей очень благодарна, она несомненно, сама того не подозревая, заронила во мне то, чем я потом стала.

Другие подруги, мои сверстницы Надя и Таня, так не повлияли на меня, хотя чаще я была с ними. С Надей я всегда почти скучала, а без нее мне было еще скучнее, скучать вдвоем как-то веселее, говорили мы с ней о всяких пустяках, так что и вспомнить нечего, слонялись бесполезно друг к другу, ходили по магазинам, когда наши мамы нас посылали, и если заваляется в наших карманах несколько копеек, то покупаем немного сладких ирисок и идем по дороге и сосем; скучное время было с ней, в детстве и то было веселее, мы катались с ней на санках, лепили снежных баб.

С Таней, с которой я когда-то играла в больницу, было интереснее и разнообразнее, она была жизнерадостней и живей, хотя она была просто весенним ветерком, но зато она была затейницей-шутницей, всё она могла придумать, она очень любила разные «идеи» и делилась со мной своими идеями, а так как ее идеи были самые авантюрные, то я даже побаивалась таких идей, но она умела меня быстро зажигать, и я смело уже предавалась ее авантюрным планам. Как я раньше говорила о ней, она была очень хорошенькая голубоглазая и светловолосая девочка с румянцем на щеках; Таня могла легко вскружить голову мальчикам, она была еще насмешницей, она пускала в адрес какого-нибудь влюбленного в нее мальчика шутки и потом звонко хохотала прямо в лицо смущенному мальчику, от ее шуток они еще пу-

ще в нее влюблялись. Мы с ней часто ходили гулять, цель прогулок была в том, чтобы познакомиться с мальчиками или просто покрасоваться перед ними, это было нашим любимым занятием, и вот мы таким образом гуляем по разным бульварам и проспектам, и конечно же встречаются нам такие же, как и мы, парами гуляющие мальчики, и некоторые идут за нами по пятам и отпускают разные шутки, мы, конечно, если видим, что мальчики не хулиганы, а вполне приличные мальчики, перед ними фасонимся, кокетливо оборачиваемся и что-нибудь тоже отвечаем, а иногда как будто и не замечаем их, а они долго идут за нами и что-то про нас говорят, обсуждают наши фигуры вслух; такое мальчишеское заигрывание нам нравилось, мы не думали еще в то время о любви или о поцелуях, нам было тогда достаточно того, что кому-то мы понравились, что они шли за нами. Впечатлений таких хватало на несколько дней, мы долго это пересказывали, что один сказал мне, а что другой сказал ей, и все это в волнении мы вспоминали; на свидания мы тоже вместе ходили, но на свиданиях я была всегда очень робкого десятка и не находила слов для разговора, всегда терялась и потому имела не очень большой успех, от смущения я часто просто не ходила на обещанное свидание; я дома в уединении думала о мальчиках, но когда я видела этого мальчика, мне хотелось бежать, и я проклинала себя за мою робость и страх, а иногда я просто разочаровывалась в мальчике на свидании, а дома наделяла его в моем воображении благородными чертами; я уже не помню всех этих мальчиков, с которыми были у меня свидания, я только помню, что все это было неудачно из-за моей дурацкой стеснительности.

Прогулки с Таней мне нравились больше, чем школа, и не только прогулки с Таней, но вообще прогулки, даже когда я одна, это для меня было счастливым временем, нежели ходить в тоскливую школу и видеть крысоподобных учительниц; школа становилась для меня самым ненавистным бременем, я часто любила прогуливать, и вскоре я окончательно решила бросить школу; со мной вместе и Таня решила бро-

сить ее, и мы были обе как свободные птицы. Причем ее и мои родители не знали об этом, мы продолжали делать вид для них, что по-прежнему ходим в школу, а отметки ставили сами в своих дневниках, какие соответствовали нашим желаниям, были весьма успевающими девочками, для родителей конечно. Родители не знали про это до происшествия, которое с нами случилось при самых плачевных обстоятельствах.

Я и Таня очень мечтали купить себе прозрачные капроновые чулки, приближался майский праздник, родители наши считали, что мы еще слишком малы, чтобы иметь прозрачные чулки, денег у нас не было, тогда мы стали придумывать и фантазировать, как бы достать деньги, и в голову приходили разные планы, один фантастичнее другого, в особенности мои планы, они всегда были лишены реальности и полны нелепой фантазии. «Вот бы нам нарядиться в самые ветхие одежды, — с жаром говорю я ей, — и мы будем похожи на нищих, в таких одеждах можно просить деньги, это даже интересно для нас, это будет для нас театром, ведь роль нищего не каждый сможет сыграть, а мы с тобой сможем, у нас, как мне кажется, есть талант артистический». Но Таня, слушая меня рассеянно, в это время думала о другом плане, она смотрела на меня туманно, и вдруг ее осенила «идея», она даже подскочила при этом. Однажды я ей рассказывала, как моя сестра Соня в своей школе для умственно отсталых детей получила маленькую книжечку от Общества по озеленению Москвы, как я помню, Соня и другие ученики так никогда и не ходили ничего озеленять, книжечка всегда валялась где попало, там были указаны фамилия, имя и отчество, но фотографии не было; Таня как раз вспомнила про это и предложила мне блестящую «идею»: взяв Сонину книжечку, идти по разным домам и квартирам и собирать деньги на озеленение дворов, якобы для покупки саженцев и семян. Хитрая Таня даже придумала особый список, взяла тетрадку, разлиновала ее на столбцы, наверху над каждым она надписала: «название улицы», «номер дома», «номер квартиры», «фамилия», «сумма» и

«подпись». Мы, прежде чем идти, решили немного заполнить список, вписывали от себя разные фамилии, суммы и делали росчерки, чтобы жильцы думали, что не они первые и не они будут последними; мы заранее выбрали, в какой дом мы пойдем, разумеется, подальше от нашего квартала, чтобы нас не узнали в лицо.

В некоторых домах в подъездах висели железные таблицы с указанными на них фамилиями проживающих, мы списывали оттуда в свой список фамилии, а потом шли по квартирам собирать деньги, для этого дела мы даже надели пионерские галстуки, для верности. Нас жители квартир встречали весьма любезно и даже хвалили за хорошие пионерские дела, что вот, наконец, придумали полезное дело, и будет зелено во дворе, а то надоело — только негодные мальчишки под окнами бегают, да мячом разбивают окна; так нам жалуясь, они давали, кто сколько мог, а мы подносили тетрадку и просили расписаться в ней. Один человек, который нам открыл дверь, был военный, он долго расспрашивал нас, что это за общество и в какой школе мы учимся, мы заученно повторяли то, о чем сговорились дома, но он что-то засомневался, сказал, что нет денег, и захлопнул дверь. Еще некоторые жильцы с недоверием относились к нашей затее, и мы перед ними небрежно помахивали этой книжечкой, книжечка все же действовала, хотя они внимательно не разглядывали ее, деньги, впрочем, не всегда давали. Мы таким образом набрали очень много, по нашим представлениям, денег, рублей двадцать, хотели продолжать сборы и в другом доме, но от радости начали считать деньги тут же, еще не выходя из под'езда, как тут сверху спускается тот человек в военной форме, он подошел решительно к нам и спросил, много ли мы так собрали; мы замерли на месте и нерешительно стояли и что-то бормотали в ответ, а он сказал, что мы отсюда не уйдем, что вот кто-нибудь еще пройдет и он велит позвонить в милицию.

Не успели мы и опомниться, как нас подхватили два милиционера и повели в отделение милиции; по дороге я лихорадочно думала, как бы избавиться от

списка, он лежал у меня в кармане, у меня как раз была в кармане дырка, и я хотела выбросить список через нее, но один милиционер шел позади, и он мог увидеть, как я что-то роняю; в самый последний момент я в отчаянии, видя, что мы приближаемся к отделению милиции, выбросила наконец список злополучный, но милиционер, шедший сзади, поднял список, сказал: «Что же ты, ронять нельзя», — и подал мне список. Мы вошли в длинный и узкий коридор, очень темный, несмотря на то, что был день и было два окна, но свет пробивался туда с неохотою; по стенам стояли столы с чернильницами и ручками с корявыми перьями; старшина нас оставил и сказал другому, который ходил взад-вперед за барьером, чтобы он за мной и за Таней присмотрел, а сам пошел в кабинет к начальнику докладывать о нас. Через некоторое время он снова вышел из кабинета с листом в руке, он нас рассадил и дал каждой по опросному листу, чтобы мы писали, что нас побудило так делать и для чего, где мы учимся, где живем, есть ли у нас родители. Мы долго сидели и не знали, что делать, я боялась, что она напишет что-нибудь такое, что могло бы повредить мне, она тоже не писала и боялась, как бы я не написала что-нибудь неправильное, мы старались посмотреть друг другу в глаза и делали знаки незаметно от милиционера и говорили на пальцах, как делают немые, мы таким образом сговорились, что ничего не будем писать, и сидели, ожидая своей участи.

Когда нас привели в отделение, было около двух часов дня, вот уже мы сидим несколько часов, все посетители, которые находились по паспортным делам здесь, ушли, и остались только мы с Таней да милиционер, уже сменивший первого. Нас вызвал вместо начальника дежурный и сказал, чтобы мы писали, а затем нас отпустят домой; время было уже десять часов вечера, наши родители, наверное, переполошились и паникуют, ищут нас повсюду, а мы находимся в неожиданном и столь ужасном месте; но вот уже одиннадцать часов, двенадцать часов, а мы все сидим за столом перед чистой бумагой опросного листа. Таня пересела ко мне, милиционер ничего на

это не сказал, может быть, он даже жалел нас, потому что он на нас поглядывал довольно жалостливо и все расспрашивал, что теперь делают наши родители, что мы сделали такого, что мы сидим здесь; мы обрадовались такому участию теплому и слабыми голосами просили нас отпустить, ведь родители нас обыскались, мы хотим есть, мы хотим спать, но он только развел руками и с жалостью в голосе сказал, что не велено отпускать нас, пока начальник не разрешит. Мы отчаялись совсем и замолчали, каждая думала о своем, плакали и, уморившись, мы склонили головы друг на друга, пытались заснуть и даже чуть вздремнули; придя в себя, мы снова видели тусклый свет электрической лампы и зевающего во весь рот милиционера; было тоскливо и одиноко, хотелось, чтобы родители нас нашли здесь; на стене часы, которые были похожи на крышку маленького гробика, стрелки приближались уже к часу ночи; мною овладело странное оцепениение, безразличие ко всему, что потом будет, состояние такое, будто ты не существуешь и становишься какой-то частью коридора, часов, все в тебе гудит и звенит, как в часах, милиционер становится уже не человеком, а застывшим предметом, натюрмортом.

Но вдруг где-то со стороны входа зазвенили звонки, которые нас заставили встрепенуться и выйти из оцепенения, мы услышали возбужденные женские голоса и голос милиционера, мы уже что-то предчувствовали в этих отдаленных голосах знакомое, и наконец появились долгожданные моя и Танина мамы; они как нас увидели, так вдруг заплакали обе сразу, а потом стали спрашивать нас, как мы попали сюда, а мы не могли ничего в волнении рассказать, тогда они переговорили со старшиной и пошли в кабинет начальника отделения. Потом нас поочередно вызывали и допрашивали, зачем и почему; мне было намного теплее от того, что со мною в кабинете сидела моя мама, мне не было так страшно, в ней я чувствовала некую защиту, большей частью за меня почему-то отвечала моя мама, хотя спрашивали непосредственно меня. Начальник задал вопрос, зачем мне нужны были деньги, и я просто ответила, что

мне нужны были чулки прозрачные и еще купить билет в театр, на что у меня не было денег, и мы придумали с Таней такую вещь; он спросил, кто же из нас придумал, я долго молчала, а потом сказала, что мы вместе придумали. Он хитро на меня посмотрел и ничего не сказал больше, что-то писал, потом спросил, почему я бросила школу; мама тут даже удивилась, ведь я скрывала это от нее; тогда он сказал, что я в короткий срок, а именно в две недели, должна возвратиться в школу или поступить на работу, и с тем меня отпустил; должна сказать, что начальник был добродушного вида, красивый мужчина лет пятидесяти с седыми волосами, глядя на него, мне было не страшно находиться в кабинете.

## ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Начальник отделения милиции сказал, что когда в двухнедельный срок я устроюсь на работу или в школу, я должна тотчас принести справку о том, что не веду паразитический образ жизни и участвую в активной жизни. Хотя я была несовершеннолетняя и на работу меня могли не взять, в школу я возвращаться не хотела, да и родители считали, что мне пора зарабатывать деньги, и я стала лихорадочно искать работу, но нигде меня не принимали, говоря, что я несовершеннолетняя. Тогда я пошла в райисполком, чтобы мне дали какую-нибудь работу, но и там мне ничего не дали, но зато предложили поступить в ремесленное училище для приобретения какой-то специальности, уже не помню какой, но когда мне это сказали, я наотрез отказалась, я видела, как ремесленники ходили в каком-то ужасном специальном обмундировании, в одеждах весьма непривлекательных, девочки в бумажных черного цвета костюмах с какими-то нашивками, зимой шинель черного цвета из самой убогой материи, тоже с нашивками на воротнике, и черная шапка, отделанная самым дешевым серым мехом; я решила еще что-нибудь искать, только не ремесленное училище.

Откровенно говоря, собственные мои одежды были немногим лучше, если не хуже, чем у ремесленников, у меня не было зимнего пальто, и поэтому я ходила и зимой, и осенью, и весной в одном и том же пальто, мама купила однажды пальто темнокоричневого цвета, которое мне нужно было носить как можно больше лет, лет пять самое малое, оно было невероятной длины и ширины, рукава я всегда подгибала, а чтобы оно не казалось слишком широким, всегда подпоясывалась поясом, все равно было смешно смотреть на меня, у меня был вид, словно в лес по

дрова иду, пальто на мне висело, как на палке, я была невероятно худа и всегда в то время сутулилась, стесняясь своего высокого роста. Платья — а платья у меня были только ситцевые — мама тоже мне покупала очень большого размера, на тот случай, если вдруг платье сядет после стирки или я вырасту из него, но я украдкой через некоторое время укорачивала свое платье; обувь мама тоже старалась покупать мне на один номер больше, «на рост», как она говорила, а пока что подкладывала мне в ботинки вату, чтобы не соскочили с ног; когда я разнашивала ботинки, они становились похожими на галоши, которые от просторности спадают с ног, и я всегда ими хлопала.

Когда я шла искать работу, я шла, совершенно не зная, куда я иду, в каком направлении, шла, куда глаза глядят, и домой не хотелось — слышать горькие попреки, что вот мол я не работаю и не учусь, только даром хлеб ем; я так бродила целые дни, я заходила в любое учреждение, на завод, на фабрику, но все безуспешно, несовершеннолетних не берут даже в ученики, я совершенно отчаялась искать, я думала, вот ведь хорошо раньше были частные предприятия, частные лавочки, уж раньше можно было наверняка стать учеником в любом деле, а сейчас нужны справки, да с печатью. Однажды я пошла в аптеку купить для мамы лекарство и неожиданно для себя спросила у продавщицы, нет ли здесь какой работы; она мне велела пройти к начальнице, я почувствовала, что, может быть, тут как раз случайно будет удача, я спросила у начальницы, нет ли для меня работы, и она, к моей великой радости, предложила мне стать ученицей фасовщицы, разливать лекарства, раскладывать таблетки и порошки в специальные коробочки; правда, очень мало платили, но я была в восторге, что у меня будут, наконец, свои деньги, заработанные, теперь мои родители не будут меня попрекать, что даром ем хлеб.

В аптеку не нужно было много справок, только из домоуправления о том, что я проживаю в Москве, с указанием точного адреса, и на другой день я уже работала в аптеке, в фармацевтическом отделе, все

было бело и чисто, пахло лекарствами, на столах разные колбы, ступки для растирания порошков, мне показалось очень интересно, меня начальница подвела к какой-то женщине, сидящей за столом в белом халате и в белом колпаке, и сказала, что пусть она мне покажет, что делать, и ушла; эта женщина в белом халате была очень толстая, она сразу, не спросив моего имени, велела надписывать коробочки, наклеивать этикетки на разные пузырьки. Работа мне казалась неплохой, не трудная и не грязная, потом мне давали уже разливать лекарства, мне нравилось это делать, мне нравилась аптекарская точность и то, что, как я думала, вот я разливаю, а кто-то больной будет пить после. Но не успела я проработать в аптеке и двух месяцев, как стали сокращать на работе людей, и я попала в число сокращенных, оставляли в основном старых работников, и я была уволена по сокращению штатов.

Таня после нашего приключения совсем затихла, ее родители запрещали ей дружить со мною, к ней уже зайти невозможно было, хотя она сама заходила ко мне, но гораздо реже; она боялась, что первое время милиция будет за нами следить, не ходим ли мы вместе, во всяком случае она мне так говорила; я не думала, что они так будут делать, ведь у них и без нас дел хватает; милиция успокоилась после того, как я устроилась на работу, Таня тоже устроилась с помощью своей тети ученицей в комиссионный магазин. Однажды Таня пришла ко мне и очень серьезно сказала, что нам надо поступить в вечернюю школу, надо кончать школу, она хочет потом поступить на математический факультет; она меня уговорила, и мы пошли в школу рабочей молодежи, которая находилась недалеко от нас; ее приняли быстро, а меня не очень хотели принять, потому что я в это время уже не работала, но я сказала директору, что совсем скоро устроюсь на работу, совсем на днях, и тогда принесу справку, она с трудом разрешила мне ходить в школу. На занятиях в первый же день она спросила, у кого нет справок с работы, у меня опять не было, я пообещала принести потом, но так и не принесла, потому

что никак не могла устроиться на работу, так про меня и забыли и уже не спрашивали о справке.

В этой школе, в шестом классе, я проучилась недолго, не более полугода, мне опять не понравились учителя, не понравился состав класса, грубый народ из рабочего класса, мужчины и юноши всегда ругались матом, держались несдержанно по отношению к девушкам, было трудно заниматься в таком классе; по-прежнему я никак не могла усваивать математику, из за нее я тем более не хотела учиться дальше, хотя очень любила русский язык. Несмотря на то, что в этой школе учились взрослые люди, учителя вели уроки очень неинтересно и сухо; чтобы понять, хочешь слушать, когда слушаешь, то слышишь монотонный голос и книжные слова, я невольно отвлекаюсь, делаю зарисовки впереди сидящих товарищей, такое ученье трудно воспринимать таким натурам, как я, эмоциональным, трудно сосредоточиться на чем-нибудь одном.

Я все свое внимание софедоточивала на уроке истории, а получала одни двойки; историю вел очень красивый молодой человек, высокого роста, с пышными желтыми волосами, откинутыми назад, с синими глазами и с прекрасными зубами, он напоминал скандинава, он ходил в бархатной куртке и весь был полон какой-то таинственности, урок он вел с несколько смущенным видом, и при этом у него слегка краснели щеки, когда он обращался к какой-нибудь девушке, но когда об'яснял что-нибудь или рассказывал, то лицо его было очень спокойное, бледное и вдохновенное; я смотрела за спинами товарищей во все глаза на него и с каждым уроком в него все более влюблялась, все, что он говорил, пропускала мимо ушей и страшно краснела, когда он ловил мой страстный взгляд, смущалась до слез и надолго опускала голову; когда же он меня вызывал отвечать урок, то я с парты ему отвечала, не поднимая от смущения головы, что я не знаю урока; когда он меня вызывал к доске, то я, в страшном волнении, что окажусь рядом с ним, все, что знала, забывала, и он мне ставил плохую оценку, но чаще всего он ставил мне просто точку, это значило, что я отвечу урок

в следующий раз, таким образом он ставил мне много точек, а потом ставил уже двойки, но я выбиралась из двоек, когда у нас бывали письменные работы, на листах он задавал вопросы, а мы должны были отвечать на них, я получала уже не двойки, а тройки и четверки и таким образом выезжала на письменных работах.

Но училась я без всякого интереса, вся опустошенная, после того как неожиданно увидела на пальце моего учителя обручальное кольцо; я раньше втайне надеялась на то, что, может быть, он обратит на меня внимание, теперь мне стало слишком тяжело ходить на его урок. Но вдруг учителя истории сменила пожилая женщина, и тогда я стала ходить на урок истории, я не могла понять, куда он исчез, уволился или его уволили, мне было жаль, что он уже не появляется в школе, я еще долго мучалась любовью к нему, я надеялась, что, может быть, он еще появится, но он так и не появился, раны мои истекали кровью, и будто еще соли туда насыпали, и рана сожгла мою душу, с'едала мои мозги, и туманом застилало мои глаза, любовь, любовь, я умру с тобой! Но прошло два месяца, и я стала успокаиваться, раны мои немного затягивались, было мне тогда шестнадцать лет.

## НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ ЖИВОПИСЬЮ

В нашем дворе я с четырьмя девочками стояли, подперев забор, и с тоской лузгали семечки, другого занятия у нас в это время не было, и смотрели на проходящих мимо нас людей, у меня было тогда ощущение полной безнадежности и бесцельности, в голове не было и толики мыслей, был туман и беспросветность, к девочкам, с которыми я стояла, я уже была равнодушна, тем более, что девочки обычно дружили парами, а я как раз осталась без напарницы и была как бы лишняя и нежеланная, и поэтому среди подруг имела последний голос или отголосок жалкий. Так я лузгала семечки и рассеянно глядела на проходящих мимо людей, проходили слишком озабоченные люди с портфелями, с толстыми сумками, а то и просто со свертками в газетной бумаге, шли толстые, худые и поджарые, все они шли быстро, на лицах было полное безучастие ко всему окружающему, они шли целеустремленно куда-то, Бог их знает куда, в этом был какой-то фанатизм или лунатизм... И вдруг мое внимание привлекло такое видение, что трудно было сказать, что это или кто это, но это было для меня чудо, спущенное с небес, а может быть, из самого ада: прошел мимо нас мужчина средних лет с густой черной бородой, бакенбардами и черными кудрявыми волосами, откинутыми назад, они почти спускались до плеч, он шел очень стремительно и зорко поглядывал глазами на все окружающее, он что-то насвистывал тихо и тонко по-соловьиному, одет был тоже необычно, в узкие, обтягивающие его стройные и крепкие ноги джинсы, из карманов которых торчало и бренчало множество ключей, в красной тенниске со множеством дыр, он был похож на пирата, тело сквозь тенниску чувствовалось литым, сделанным из бронзы телом йога. Все это я оценила

в одну секунду и окинула быстрым взглядом, я была взволнована этим человеком, потрясена, я не выдержала и громко сказала, указывая на него: «Девочки, девочки, смотрите же, идет неандерталец!» Все девочки обернулись, поразившись, может быть, не присущей мне тогда громкости голоса и необычности интонации, девочки сразу же засмеялись, глядя на него, и мы проводили его пятью парами глаз. Но что я вижу: он вошел в наш двор и идет в наш под'езд, я даже испугалась, подумала, что, может быть, он услышал, как я его назвала неандертальцем, и что-то должно сейчас произойти, у меня кольнуло сердце, он прошел в под'езд, оставив меня в онемении, волнении и потрясении, сто чувств было тогда.

Через несколько минут я девочкам сказала, что пойду зайду за Алей, за той самой девочкой, с которой я дружила странною дружбой; хотя я очень редко заходила к ней с тех пор, как бросила школу и не нуждалась в ее помощи по математике, а также потому, что она имела ужасный характер и была со мной всегда груба, но тут я как бы по наитию захотела зайти к ней, бессознательно или сознательно мне мерещилось, что она как-то связана с этим человеком. И когда я вошла в ее комнату, да, я увидела этого странного человека, этого «неандертальца», я опешила, не знала, что сказать, а потом нашла в себе и выдавила слово приветствия, но чувствовала при этом неловкость. Но не успела я договорить, как голос этого странного человека заглушил все вокруг, он воскликнул: «А, вот эта девочка меня назвала неандертальцем, ах она такая негодная, сейчас я ее заставлю просить прощения, и на коленях! Я знаю, я видел краем глаза, именно она это произнесла! Что это за девочка?» — спросил он у Али. Аля сказала, что я живу в этом же доме, что я татарка и что я тоже рисую. «Гм, — сказал он, — это хорошо, что рисует. А как тебя зовут?» Я назвалась Розой, меня во дворе все звали так, перекрестив по-русски, хотя мое татарское имя Гюзель, что в переводе с тюркского означает «красота»; услышав имя «Роза», он сморщился и сказал: «Какое вульгарное имя, а как же по-татарски тебя зовут?» Я сказала с робостью и стыдливостью

свое имя татарское, и когда он услышал это имя, был приятно поражен и воскликнул: «Какое прекрасное и поэтическое имя у тебя, какая же ты дура, что называешь себя каким-то ужасным именем Роза!» Затем он мне сказал, чтобы больше я его не называла неандертальцем и чтобы сейчас же попросила у него прощения, и я со смущением и волнением выдавила слова о прощении.

Он велел мне остаться у Али, дал большой лист бумаги и велел делать рисунок черной масляной краской; в руке у меня очутилась сапожная щетка, и он показал мне, как рисовать сапожной щеткой впротирку, растирая ее в черной масляной краске, которая называлась «жженая кость». Как предмет, который нужно рисовать с натуры, он взял подушку, лежавшую на кровати, и сказал, что нужно показать ее во всей ее выпуклости и об'емности в пространстве. Белая плоскость в его волшебных руках быстро разрушалась, и появлялся неуловимый об'ем, напоминавший знакомую подушку, а вокруг этого об'ема как бы ореолом выявлялось глубокое пространство, на глазах у нас происходило некое таинство с этой бумагой, она превращалась в бесконечное пространство, в загадку, глаза проваливались туда, обнимая и осязая предмет в пространстве, обнаруживая скрытый смысл в нем, потому что, помимо той подушки, которую он рисовал с натуры, он сумел передать и внутри заложенное нечто, и картина была готова, все ожило на бумаге. Потом он прикрепил новый лист к фанере, с тем чтобы я тоже сделала подобное; откровенно говоря, мне стало страшно вот так взять щетку и начать водить по бумаге, я только со страхом и волнением глядела на него, он же крикнул мне: «Что ты смотришь на меня?! Смотри на бумагу и скорей уничтожь эту плоскость, чего боишься бумаги, ведь она не кусается! Не получится, возьми новый лист!» И я, превозмогая робость и волнение, приступила к белой плоскости; скорее страх, что закричит мой странный незнакомец, чем страх перед белой бумагой заставил меня ожесточенно проводить по ней щеткой, поэтому у меня получалось неумело, кругом рваные белые куски, и нет постепенного пе-

рехода от белого к более темным местам и до самого глухого черного, и все же, под непрерывным грозным взглядом художника, я сделала картину; после некоторых поправок, выравнив разрозненные рваные куски, он очень остался мной доволен и спросил меня, хочу ли я у него заниматься в мастерской. Я, густо покраснев, ответила, что сама я очень хочу, но родители мне не позволят заниматься и ходить к нему, но я решила про себя, что не буду говорить им о своем новом знакомом и буду тайком посещать своего учителя. Мой учитель — теперь я его буду называть здесь учителем, а не незнакомцем — затем дал мне свой адрес и начертил план своего района, с тем мы расстались.

Весь остаток дня я провела, словно во сне, я не могла ни на чем сосредоточиться, я вся была переполнена океаном новых, дотоле неизведанных чувств, дома я молча ела, рассеянно слушала, что говорят мои родители, а сама была в мыслях у Али, мне слышался его голос, виделся его облик странный, непонятный и загадочный. В этот день я впервые себя почувствовала счастливой и совсем новой, я представила свою дальнейшую жизнь тогда; какая она будет, мне еще было непонятно, но сердце мое сладко щемило перед этим непонятным, в моей голове проносились детские воспоминания, мои детские мечты об отце и друге, который будет меня понимать и учить меня. Странно для меня, но многие мои фантазии, детские мечты и желания, как я вижу сейчас, начиная с этой встречи, постепенно осуществляются, может быть, я иду по заранее уготованной мне судьбой дороге. Я верю в судьбу, я лишь покорна ей, но я всегда почему-то чувствую, что в жизни ничего случайного не бывает, во всех событиях, происходивших и происходящих, в поступках людей, любовь и зло творящих, есть скрытая от нас Великая Логика, в ней, может быть, и заложен весь смысл нашего бытия, а наше сознание, не видя целого, все события во всякие времена начинает разрывать на звенья цепи, потому получается во всем какая-то путаница. Но зашла далеко, буду продолжать свой бессозна-

тельный и текущий поток воспоминаний, стараясь найти в этом потоке внутреннюю логику вещей.

Через несколько дней, теплым августовским днем, я отправилась к моему учителю; не без волнения я шла туда, много разных чувств сопровождало меня, первым и самым главным, кажется, был для меня непонятный страх перед мужчиной, страх оказаться наедине с ним, ведь я была воспитана моими родителями в ненависти к этому полу, только не знаю, для чего это было им нужно; вторым чувством для меня было ожидание нового мира, связанного с моими прошлыми мечтами и моими причудливыми снами в детстве, было ощущение солнца, сияющего вокруг меня будто я из глухой темной пещеры нашла выход к свету, я бежала из этой пещеры, не боясь впереди сияния, которое меня озаряло, весело шла, покидая старый мир моего двора, моих подруг, лузгающих в бездельи семечки, и всё, что меня окружало тогда.

Мой учитель жил в одном из переулков Сретенки, в старом трехэтажном доме. Меня очень поразило сходство наших домов, едва я перешагнула порог входной двери, как меня обдало запахом стирки с вонючим мылом дешевым, запахом отвратительного варева из кислой капусты, у плиты стояли две неопрятного вида женщины, толстая и тощая, они, перебивая друг друга, бранились о чем-то. На мой вопрос, где дверь художника, мне указали пальцем, и я сквозь клубы паров и чада дернула за шнурок звонка, и тотчас раздался звон колокольчиков, дверь отворилась, и меня встретил мой учитель, громко и весело восклицая приветствия. Был он полугол, лишь шорты цвета хаки покрывали его пропорциональное тело с хорошо развитыми мышцами, да на голове сидела черная шляпа тридцатых годов, весь его наряд моему непривычному взору показался тогда более чем оригинальным.

Комната оказалась для художника очень маленькой и узкой, длиной три метра, а шириной всего два, так что в комнате помещались только стол, который стоял у окна, топчан, покрытый коврами, и против топчана самодельного стояли два с высокими спинка-

ми стула, покрытых медвежьими шкурами, окно большое, с балконом, дверь маленькая, низкая, с одной стороны двери, с внутренней, свисает звериная шкура с огромными лапами и когтями, стол возле окна тоже почему-то покрыт ковром, ковры повсюду, где позволяло только место; на столе стояли кувшин с кистями и разные безделушки, над столом висела картина старинного художника-мариниста, написан шквал с летящими снастями в кипящей пене тонущего корабля, с плавающими щепками. Вот вся обстановка. Удивляюсь, как он мог работать, да еще принимать учеников у себя, хотя сестра его тут же за перегородкой жила одна в двадцатипятиметровой комнате, раньше его и сестры комнаты составляли одну большую. Кроме того, в комнате моего учителя, а также в общественной кухне к потолку были подвешены байдарки, которые он сам строил по своим собственным чертежам, у него даже на эти изобретения есть патент; каким образом и когда начал он строить эти байдарки, я расскажу немного дальше.

Мой учитель усадил меня на топчан и стал угощать меня сначала супом, который сделал он собственноручно, суп был нехитрый, из воды, картошки и жареного лука на постном масле; обеденным столом служил деревянный круг, который он ставил на свои колени или на колени гостя. Во время обеда он расспрашивал меня о моей семье и о том, как я учусь, очень ругал меня за то, что я называю себя русским именем Роза, и велел мне отвыкать называть себя так, раз у меня есть прекрасное поэтическое имя Гюзель. Своими вопросами он меня прощупывал, изучал, смеривал мои возможности и стоит ли со мной возиться.

После обеда мы приступили к нашим занятиям: прикнопив лист белой бумаги к фанере, дав мне щетку сапожную и тюбик черной краски, он велел с натуры написать маску Венеры, которая висела у него на стене; я с огромным наслаждением принялась рисовать Венеру, мне нравилась эта интересная техника, градации тонов и полутонов от светлого до самых темных. Но вообще наши занятия начались с шаров, конусов, цилиндров, т.е. с самых простейших,

казалось бы, но и с самых сложных уроков понимания формы и пространства, не обостряя внимания на законе перспективы, это, на первый взгляд, кажется странным, не правда ли? Но я только недавно, кажется, начала понимать по-настоящему его метод, он мыслит предмет не в обычном академическом смысле, как то, что находится в трех измерениях, а видит его в неизмеримо большем числе измерений, в четырех, пяти и так далее; если он еще не нашел ключа к этому, то уже подошел близко, потому что в его преподавании чувствовался выход в бесконечность, он не учил рисовать линиями, потому что их не существует, существует наша слепота, линии — это наши пробелы и недостаток понимания и неумение видеть мир в целом, а не частями, все барьеры и линии существуют только у нас в голове. Первое наше занятие прошло очень интересно и живо, я многого не понимала тогда, но чувствовала, о чем он мне толковал. Я целый день без устали у него рисовала, забыв про все на свете.

Василий Яковлевич, как зовут моего учителя, в продолжение моего рисования все время весело напевал и то и дело выбегал на балкон и выкрикивал оттуда что-то вроде: «Коммунисты!» На меня все это производило крайне ошеломляющее впечатление, я только растерянно улыбалась, не имея сил на все его подобные шутки возразить. Он часто шутил очень экстравагантным образом, например, он как-то ехал в метро со своим товарищем, напротив сидел человек робкого вида, наверное служащий, на нем был довольно красивый галстук, мой учитель начал говорить на каком-то тарабарском языке, изображая иностранца — а это было время, когда иностранцы в Москве встречались реже, чем слоны, — служащий удивленно посматривал на него; когда поезд приближался к станции, мой учитель стал медленно подходить к нему, служащий сжался, глядя испуганно, Василий Яковлевич подошел к нему спокойно, снял с него этот галстук, сказал с каким-то иностранным акцентом: «Су-вэ-нир!» — и вышел из вагона. Другой раз, тоже в метро, зимой, мы ехали с ним куда-то, ему якобы стало жарко в вагоне, и он у всех на

глазах, развалившись на сиденье, стал, к моему ужасу, снимать с ног свои валенки, снял портянки и положил все это рядом на сиденье, и, сидя босиком, как ни в чем не бывало с равнодушным видом начал насвистывать губами какую-то красивую мелодию. Что это, протест стыду и да здравствует свобода? Я поняла, что это скорее всего протест комплексу собственной неполноценности и неуверенности в себе. Похожий пример был с двумя известными поэтами в начале века, тогда было очень модно выражать протесты такого рода, они вышли на улицу в ярких штанах и кофтах, причем одна желтого цвета, другая красного, они гуляли по улице, смущая прохожих; один из них, я думаю, и кончил свою жизнь рано от неуверенности в себе.

Мой учитель всегда был экстравагантным не только в поведении, но и в одеждах своих, он следовал самым новейшим западным модам—, любил удивлять своей прекрасной одеждой, но также наряду с тем, поражал окружающих, одевался в самое, что называется, рубище, ходил, смущая и шокируя как чужих, так и близких. Например, демонстративно разрывал свою спортивную тенниску, выделывая самые замысловатые дырки, и так ходил летом, сам сшил себе из кумачевых знамен джинсы, что даже остановил его милиционер и спросил, почему он ходит в таком виде и зачем употребил флаг для штанов, разве у него не было другой материи для них; он отвечал милиционеру, что у него просто не было денег купить материал для штанов и потому снял флаг с дома; я не знаю, чем кончилось дело, вероятно, его оштрафовали. Вообще я помню за ним такую черту, что всегда он любил произвести на всех окружающих впечатление; когда мы шли с ним по улице, то всегда за нами шла большая толпа зевак и показывала в нашу сторону пальцами. В то время люди с трудом воспринимали всякое преобразование в моде, в одеждах, помню, в нашем доме снимала одно время комнату девушка, которая снималась в кино, и она красиво одевалась, одежды преобладали яркого цвета, когда она надела сшитое ей самой красное пальто, то во дворе старухи и даже нестарые женщины,

показывая на нее пальцем, кричали: «Проститутка!» После войны и в пятидесятые годы одежды в основном преобладали мрачных тонов, темносинее, темнокоричневое, черное, если кто-то осмелится выйти в одежде более ярких тонов, рисковал быть оплеванным и осмеянным вдогонку. С трудом прививалась новая мода в России, может быть, было тогда не до этого, тогда широким фронтом взялись за стройку, а мода как-то отставала, внедряя в людях чувство пренебрежения к собственной одежде и тем самым укореняя дремучесть и дикость народа. Я помню даже по себе, когда мы шли с моим учителем по улице, а позади нас огромная толпа зевак, у меня было чувство неловкости, я стенялась идти рядом с ним и в то же время гордилась им за то, что он был не похож на других, и тогда мне было стыдно перед ним за свой стыд и неловкость.

Мои занятия с учителем начались не без протеста со стороны родителей. Когда моя тайна раскрылась — а раскрылась она потому, что Василий Яковлевич продолжал ходить к Але и родители видели нас вместе во дворе, — то мне стало труднее ходить к нему. Родители были напуганы нашим знакомством. Во-первых, в их несчастные головы закралось подозрение, что я уже стала его любовницей, меня чуть ли не ожидала уже судьба моей бедной Сони, а именно врачебная комиссия, которой меня хотела подвергнуть моя мама, а отец без всяких комиссий и проволочек называл меня проституткой, а моего учителя хитрым подлецом, развратником, бездельником и сумасшедшим. Во-вторых, само занятие живописью они не считали делом, мама презрительно называла мои рисунки «чертижками», говоря, что все это от безделья и ни к чему хорошему не приведет, лучше бы я поступила на завод и приобрела квалификацию; в особенности же на меня нападал мой отец, и на мои возражения и об'яснения так распалялся, что даже пена шла изо рта, и как-то, схватив мою палитру, со словами: «Не было у нас в семье художников — и не будет!» — ударил меня ею по голове, так что вся она отпечаталась у меня на волосах разноцветными красками, а саму палитру

разломал пополам и бросил в окно. Но постепенно мне как-то удалось успокоить хотя бы маму и даже склонить ее несколько в сторону моего учителя.

Как-то я долго болела ангиной и не ходила на занятия, и неожиданно ко мне пришел мой учитель, чтобы узнать, почему я так долго не прихожу. Приход моего учителя невероятно меня взволновал, я очень растерялась, я сильно стыдилась перед ним убогой нашей комнаты и моих грубых родителей, меня пугало, что скажут мои родители, но отец, к моему удивлению, принял его вполне по-человечески, стал его расспрашивать, женат ли, работает ли где и сколько зарабатывает денег, работая художником; потом мои родители пригласили его за стол и угостили лапшой, это наше традиционное и почти каждодневное блюдо. Хотя мой отец и расспрашивал его с какой-то насмешкой и говорил ему, что это не работа, что какой дурак заплатит деньги за картину и что он не позволит мне заниматься живописью, мой учитель приводил множество примеров молодых художников, которые сначала были неизвестны, но продолжали работать неустанно, пока не стали, наконец, известными на весь мир и имели за картины кучу денег и одевали родителей, сестер и братьев в шелка. Когда мой учитель начинал говорить о деньгах, глаза у родителей разгорались, и на прощанье отец, разыгрывая либерала, вежливо сказал, что хотя я должна уже скоро работать на меховой фабрике, но в свободное время могу заниматься живописью, он ничего против не имеет. Мне помогли мои слезные моления и мое упорство, а также приличный вид моего учителя, который пришел на этот раз в элегантном костюме. К слову сказать, его теоретические воззрения вполне отвечали взглядам моих родителей на живопись, в своей «Автобиографии» Василий Яковлевич позднее писал, что, по его мнению, «искусство возникло от нечего делать»: когда первобытный человек насытился сам и накормил детей, почему бы не вылепить из глины каких-нибудь забавных человечков или не спеть хором, «ведь даже журавли пляшут, птички поют», добавляет он.

И так я стала ходить к моему учителю, и он урок за уроком двигал меня к пониманию живописи и учил смотреть и видеть, в урок входили также прогулки по музеям и по выставкам, он учил меня отличать хорошее произведение от плохого, бездарного. Меня хорошо было учить, потому что до него у меня не было никого, кто бы меня учил, я не подпадала ни под какое влияние извне, восприятие у меня было свежее, не испорченное, и потому я была для моего учителя благодатной почвой для посадки семян. Я благодарна судьбе, которая послала мне такого учителя, все уроки, все беседы не прошли для меня даром, они указали мне мой путь, на основании хорошего преподавательского влияния, советов я начала впоследствии самостоятельно искать свой путь, постепенно переходя от школы моего учителя к собственному методу в живописи.

## ЖИЗНЬ И НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МОЕГО УЧИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ ЯКОВЛЕВИЧА СИТНИКОВА

Мой учитель до войны учился на художественном отделении Московского педагогического института у профессора Кардовского, а работал, зарабатывая себе на хлеб, в Суриковском художественном институте, работал он там лаборантом, показывая диапозитивы студентам, студенты его шутливо называли Васькой-фонарщиком, прозвище за ним так и осталось среди художников. Две эти школы очень сильно отличались друг от друга, в институте, где он учился, студентов учили рисовать всякую форму, будь то человеческая фигура, или гипсовая маска, или горшок, по разлинованным клеточкам строго, соблюдая все пропорции, а затем уже по этому рисунку прописывают маслом или акварелью. Когда Василий Яковлевич приносил свои работы показать в Суриковский институт, то над ним там смеялись откровенно; в Суриковском он пробовал работать, подражая методу наложения свободных мазков на холсте, и когда приносил показать в Педагогический институт свои работы, то там тоже его поднимали на смех и говорили, что так нельзя рисовать, и таким образом он находился как бы между двух огней.

Продолжая усиленно работать и находясь под влиянием обеих школ, он постепенно пришел к собственному методу, которому впоследствии учил своих учеников, тогда открыто ругал он обе школы. Ему даже удалось переубедить одну студентку Суриковского института, в которую он был сильно влюблен, она была немкой, звали ее Ирма; искренно убеждая ее в неверном подходе в институте и наоборот в правиль-

ности своего, он показывал ей, как надо рисовать, и затем она стала ходить к нему и брать уроки. Правда, эти занятия продолжались недолго, началась война, ее с семьей куда-то выслали, и он так и не успел об'ясниться ей в любви, это была самая сильная его любовь, по словам моего учителя. Впоследствии он мне показывал длинные пламенные письма, которые он писал ей, но не дошедшие до нее из-за ее высылки, а частью возвращенные ему ей самой, так как в ссылке она вышла замуж за другого, эти письма были полны поэзии, страсти к ней и какого-то рабского преклонения. А с моим учителем в это время случилась неожиданность, которая отразилась на всей его дальнейшей жизни.

В продолжение моего ученичества я часто замечала за ним манию к коллекционированию всяких предметов, в частности он собирал на улице банки, проволоку, реечки и фанерки, красивые бутылки и даже пробки от пивных бутылок, об'ясняя, что хочет сделать из них абстрактную скульптуру, потом появилось на стенах мастерской множество вырезок из советских газет с фотографиями Хрущева с пальцем, он любил выразительный палец Хрущева, палец его был устремлен то вверх, то вниз, одним словом в разных направлениях, как бы дополняя тем самым смысл его вдохновенной речи, собирал он и более интересные вещи, например, иконы или шкуры зверей. Вот эта-то страсть к коллекционированию и сыграла в его жизни в военный период роковую роль. Когда немцы наступали на Москву, его со многими другими студентами послали рыть окопы, над ними тогда пролетали немецкие самолеты и сбрасывали листовки. Одержимый своей страстью, мой учитель собрал целую пачку разных листовок, и она пролежала у него дома несколько месяцев среди другого собранного им хлама. Как-то в ноябре или октябре к нему зашел товарищ и заговорщицки сказал ему, что подобрал на улице одну немецкую листовку, и спросил, не хочет ли он посмотреть, на что Василий Яковлевич простодушно ответил, что у него много таких листовок, и с гордостью коллекционера показал

свою пачку. Товарищ похвалил его коллекцию и ушел, а на следующий день к нему пришли с Лубянки с ордером на арест и забрали вместе с листовками, не слушая его объяснений.

Его поместили в следственный изолятор, в одиночную камеру этого огромного, мрачного, серого цвета здания на Лубянке. Обвиняли его уже не только в каких-то листовках, но в том, что он входил в какую-то подпольную подрывную организацию или даже возглавлял эту организацию, которая якобы хотела перед приходом немцев в Москву захватить Кремль и провозгласить царем чуть ли не самого Василия Яковлевича, чтобы поставить немцев перед совершившимся фактом восстановления монархии в России. На следствии его спрашивали об остальных членах группы, но он отрицал все эти бессмысленные нападки и говорил, что просто подобрал на улице листовки для своей коллекции. Он страстно заверял, что не было никакой группы, что ему и в голову не приходила мысль, что, подобрав листовки, он окажется в этом зловещем здании, он не на шутку испугался обвинений в монархизме, но ему не верили, думали, что перед ними хитрый, матерый организатор, раз он молчит и все отрицает. Временно его оставили в покое, собирая тем временем сведения о нем, а он сидел в одиночной камере, ожидая, что будет, надеясь только на то, что все недоразумение раз'яснится. Во время долгого и мучительного пребывания в этой тюрьме, изнуренный голодом и душевными страданиями, за высокими стенами, за которые он уже не надеялся выйти, нашел он выход в вере в Бога. Я не знаю, продолжает ли он верить в Него сейчас с такой силой и самоотречением, как тогда в тюрьме.

На этот раз его долго не беспокоили с допросами. Поскольку он не давал нужных показаний, его решили перевести в Лефортовскую тюрьму, в камеру к блатным, где он заболел вследствие голода пелагрой, он не мог ходить и передвигался на четвереньках, до того голод источил его тело. Проходили дни, месяц, второй, а его не вызывали, он с ужасом думал, что ему готовят. Тяжело было сидеть в этой камере, он

даже родителей не хотел так видеть, как следователя, чтобы узнать что-нибудь о своей судьбе. И он решил, что если его снова вызовут, он подпишет любые показания, лишь бы его отпустили, он думал тогда о товарище, который был у него в комнате и видел эти листовки, горько было думать о нем. Наконец, открылась дверь в камеру и появилась фигура следователя, несшего в руке протокол в несколько листов; следователь попросил его ознакомиться с бумагами и потом подписать их. Мой учитель до того был обрадован приходом следователя, что не стал читать протокол и взволнованно стал все бумаги подписывать и подписывать, лист за листом. Бедняга, он думал, что его тотчас отпустят на свободу, как сулил следователь, тот вышел, закрыв дверь камеры, и Василий Яковлевич остался со своими мучительными мыслями. К счастью или к несчастью, его показания показались какому-то высшему начальству довольно фантастическими, скорее бредом больного, и через короткое время его уже вывезли в Казань, в тюремную психиатрическую больницу, где он пробыл около года.

Он рассказывал мне о своем пребывании в больнице, где находились умалишенные. За время пребывания там он сделал множество рисунков с натуры, рисунки получились очень выразительные, потому что лица сумасшедших отличаются большой характерностью, в отличие от нормальных людей, движения души вывернуты на лицо, эти лица словно по ту сторону жизни, потому так интересно их рисовать. Санитары, огромные, с лицами питекантропов, отличались большой свирепостью, самочинно избивали больных ногами и старались бить по самым уязвимым местам, так что некоторые заключенные теряли мужскую силу. Больных заставляли в целях оздоровления убирать зимой в сорокаградусный мороз испражнения, уборная находилась на улице, в деревянном сарайчике, и время от времени они были должны вычищать и выбрасывать испражнения, те замерзали, и без лома зимой не обходилось. Насколько такая работа оздоровляла больных, я не знаю, но они, так же, как и здоровые, проявляли недовольство, иногда

буйным образом, так что потом их приходилось усмирять санитарам-питекантропам способом, который я описала выше. Палаты они убирали сами, также в их обязанность входило мытье полов, назначалось дежурство, и каждый в соответствии с графиком делал повсюду уборку. Для того, чтобы поутру мыться, надо было с вечера заготовлять воду, наполняя огромную бочку, и вот кто-то утром заглянул в бочку, чтобы набрать чистой воды, и увидел там плавающие экскременты; каждый день это повторялось, стали подкарауливать по утрам, но никак не удавалось заловить на месте преступления; пришла очередь моего учителя наполнять бочку, он, только наполнив, отошел, глядь, а над бочкой уже устроился татарин-сумасшедший; завидев Василия Яковлевича, он только глупо и блаженно заулыбался, продолжая сидеть и делать свое дело, тут уж не стерпела русская душа — взяв татарина в охапку, он бросил его в изгаженную бочку. После этого тот уже близко не подходил к бочке. Тем временем кончились месяцы пребывания моего учителя в Казанской психбольнице, взяла его под опекунскую расписку его сестра.

После такого потрясения и удара судьбы он не мог пока жить в Москве и поехал на свою родину, чтобы немного придти в себя. Родился он в 1918 году на Дону, там же окончил речное училище и работал штурманом на пароходах, в свободное время рисовал дома. Еще с детства он периодически ездил с родителями в Москву, в середине тридцатых годов совсем туда переехал, сначала работал на строительстве метро, а затем поступил в институт, как я уже писала. Он с детства любил рисовать, на смех своим родителям рисовал дома уже юношей, родители его были необразованными, как и мои, считали его из-за любви к живописи ненормальным, кому, мол, это нужно, никто не заплатит и гроша, лучше бы колол дрова, если делать нечего, и то польза будет, его в семье считали непутевым, может быть от того и появился комплекс неполноценности у него. Так же мои родители относились к моим занятиям живописью, в результате чего у меня тоже развилась неуверенность в себе, хотя я сознавала их неправоту. Прие-

хав из злополучной психбольницы к себе на Дон, мой учитель потихоньку начал приходить в себя, занимался своими байдарками, чередуя это с занятиями живописью. Затем он переехал в столицу, чтобы там окончательно утвердиться в своем призвании быть художником.

Отошедши понемногу от травмы, он начал входить в русло столичной послевоенной жизни. Москва заживляла свои раны военных разрушительных потерь, откармливалась, строилась, училась, рождая новое поколение, поколение без времени и без веры, может быть потому, что оно стоит на пути новой морали и сознания. Василий Яковлевич начал опять работать лаборантом в Суриковском институте. Один из тогдашних студентов рассказывал позднее об эпизодах, происходивших на лекциях профессора Алпатова, которому мой учитель ассистировал с волшебным фонарем, лекции были о западном искусстве и нашем передовом советском. «В то время как советское искусство все более расцветало и процветало, — говорил лектор, — западное все более загнивало и клонилось к упадку и дошло вот до такого маразма». Тут по ходу лекции мой учитель показывал диапозитив с какой-нибудь картины Пикассо или Дали. Когда студенты посмотрят немного, Алпатов говорил: «Вася, давайте следующую», — но на весь зал раздавался уверенный голос моего учителя: «Подождите, я срисую, картина хорошая, надо будет дома написать такую». Все терпеливо ждали, пока мой учитель рисовал, и затем профессор продолжал: «В то время, как западное искусство все более загнивало и вырождалось, советское все более устремлялось ввысь, и наконец был создан такой шедевр», — тут мой учитель показывал диапозитив с картины Иогансона или Серова и громко произносил при этом: «Говно!» Алпатов, который был человек терпимый и культурный и, может быть, внутренне сам тяготился тем, что читал, делал вид, что не замечает его выходок, или только мягко выговаривал ему. О многочисленных лекциях, которые ему пришлось прослушать за годы работы в институте до и после войны, мой учитель отзывался так: сегодня профессора читали прямо

противоположное тому, что читали вчера с таким же убеждением и пафосом, и не знали сами, что им придется читать завтра, от одного этого можно было с ума сойти!

Но вообще моему учителю не пришлось слишком долго работать в институте, ему помешал большой скандал, происшедший с ним на выставке социалистических стран, которая открылась в 1958 году, она была пробным шаром освоения зарубежной культуры, потом во время пребывания у власти Хрущева выставки учащались. Мой учитель был на открытии выставки соцстран, по выставке ходили чиновного вида люди и громко ругали картины художников авангардного направления, называя «мазней». Мой учитель вступил в спор с одним из них, который с наиболее брезгливом видом смотрел на картины и поносил их, а чиновник на это, выслушав его, сказал иронически: «Тогда объясните нам эту картину». Мой учитель, разозленный его высокомерием, ответил ему: «А зачем ослу искусство, зачем объяснять ослу?» Тот от неожиданности даже отпрянул в сторону, а потом мой учитель увидел, как он стал шептаться с кем-то из своих приближенных, указывая на него глазами; этот чиновник оказался министром культуры Михайловым со своей свитой; после этого инцидента Василия Яковлевича из института уволили, и он остался без работы.

Я познакомилась с ним за три месяца до этого эпизода, он, впрочем, с других позиций, чем Михайлов, эту выставку не одобрил, нашел ее неинтересной и не велел мне ходить, чтобы не засорять глаза. Выгнанный из института, он выхлопотал себе пенсию в психдиспансере, чтобы иметь статус, иначе ему быстро бы оформили статью о тунеядстве, так что эта мизерная пенсия в двенадцать рублей, хотя и не спасала его от голода, но спасла от произвола административной власти. Чтобы не умереть с голоду, он давал частные уроки; несмотря на то, что он нуждался в деньгах, с меня он не брал, зная, что мне неоткуда взять деньги, у нас была с ним договоренность, что если он не берет у меня деньги, то все работы,

которые я сделаю у него в мастерской в период ученичества, должны оставаться у него навсегда.

Большую роль в жизни моего учителя сыграла Нина Андреевна Стивенс. Нина Андреевна родилась на Урале, после окончания школы по путевке комсомола приехала учиться в Москву, она поступила на исторический факультет, где познакомилась с одним американским стажером, и они вскоре поженились, это было еще до войны. В конце пятидесятых годов муж ее был корреспондентом «Лайфа» в Москве; мой учитель, познакомившись с этой семьей, натолкнул Нину Андреевну на мысль собирать картины «нового русского авангарда»; в то время образовывался второй русский художественный авангард, если первым считать Кандинского, Малевича, Татлина и их современников.

Поскольку наш великий Советский Союз поворачивается к Западу то лицом, то задом, то и авангард живописный, складывающийся под влиянием западного искусства, у нас то появляется, то исчезает. В конце пятидесятых годов, отчасти под влиянием выставок западного искусства, которые открывались в Москве, наши молодые художники пришли в необычайное волнение и начали работать в довольно модернистском духе, сбрасывая с себя оковы соцреализма. Устраивались подпольные выставки с жаркими дискуссиями. Об официальных выставках эти художники еще не мечтали, но все же надо отдать должное Хрущеву, который стремился к преобразованиям, налаживал культурные связи с другими странами, прорубая окно в Европу, чтобы впоследствии через это окно кто-то показал по-русски жопу, а теперь опять просовывает лицо. Вот этих-то новых авангардистов, еще официально не признанных и чуть ли не гонимых, мой учитель и посоветовал собирать Нине Андреевне в надежде, что рано или поздно некоторые из них прославятся, а пока что ее покупки будут поддержкой для них. Так Нина Андреевна собрала большую коллекцию и даже впоследствии показала ее в США.

Она покупала также картины у моего учителя, одна из них даже висит в Музее современного

искусства в Нью-Йорке, не та правда, которую продал мой учитель, а та, в которую он завернул проданную картину, использовав свой старый рисунок в виде обертки. Но Нина Андреевна покупала у него мало, так как мой учитель был тогда в поисках себя, не всегда заканчивал картины и бросал на полпути. Трудно сказать, насколько он проявил себя и нашел ли свойственный ему стиль, в некоторых картинах, например в серии «Монастыри», он как будто прощупывает свой стиль или, по крайней мере, один из своих стилей, это как русский лубок, с веселыми церквями, с мужиками бородатыми, летящими во весь дух на санях, в русском мужике он изображал самого себя. Но мне казались эти картины чересчур сувенирными, словно он их делал на заказ для иностранцев, со временем «Монастыри» его стали очень покупательными, они конечно, были красивыми, но очень далеки от того, что мог бы делать мой учитель, если бы всю свою жизнь посвятил живописи.

Я думаю, мой учитель сам хорошо понимал это. Помню, я с мужем как-то привели к нему наших знакомых, молодую американскую пару, им очень понравился один «Монастырь», и они хотели купить, но цена казалась слишком высокой. Тогда он сказал им с улыбкой, что им стоит купить, потому что гостям, которые будут посещать их дом, его «Монастырь» понравится больше, чем все картины других художников, купленные ими в Москве, если только в гости к ним не придет какой-нибудь очень хороший художник. «Но поскольку откуда же он к вам придет, — спокойно добавил мой учитель, — то вы смело можете покупать картину». Они купили и были, как кажется, довольны.

Так что жизнь моего учителя после долгих испытаний стала налаживаться, он получил к тому же, так как его дом начали реконструировать, вместо своей маленькой комнаты, которую я описала ранее, две большие комнаты в здании бывшей французской богадельни на Малой Лубянке, по странной иронии судьбы точно напротив того мрачного серого дома, куда его ввели под конвоем осенью 1941 года; он, правда, плотно завесил выходящее на этот дом окно,

и квартира его освещалась через противоположное окно, выходящее в московский старинный дворик.

По его словам, Василий Яковлевич живет сейчас очень счастливо. Он не стал, правда, значительным художником, но это само по себе не приносит счастья. Быть может, он не стал значительным художником еще и потому, что слишком много времени отдал ученикам, и не осталось уже силы для себя. Как учитель, с тонким пониманием живописи, с природным чутьем на учеников, умением распознать их возможности и направить на правильный путь, он был для меня, пожалуй, самым большим авторитетом, я очень счастлива, что встретилась с ним.

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

Главой, посвященной моему учителю, я заканчиваю книгу. Встречей с ним кончилось мое детство, или, говоря словами Льва Толстого и моей сестры Сони, «детство и отрочество», но «приключения» еще не начались, я еще долго находилась как бы между двумя мирами, тяготея к миру художников и не в силах порвать со всеми привычными представлениями родительского дома, стремясь стать художницей и порой испытывая такое отчаяние и безразличие, что месяцами кисти в руки взять не могла, и так я балансировала до тех пор, пока не встретилась со своим будущим мужем, с ним я связала свою судьбу и пошла вслед за ним, и благодаря ему смогла окончательно уйти из того удручающего мира, о котором я здесь пишу, и тут уже действительно начались приключения и похождения. Я иногда рассказывала мужу о тяготивших меня воспоминаниях детства, и он посоветовал мне написать эту книгу. Я писала ее осенью 1969 года в нашей деревне Акулово под Москвой, а две последние главы летом 1974 года в Магадане, городе на берегу Охотского моря.

4 августа 1974, Магадан.

# Письмо из Сибири

Дорогая моя, я все собиралась тебе написать и все как-то откладывала на завтра это письмо, несмотря на то, что я люблю писать, но сама понимаешь, в чем тут дело, я еще до сих пор в себя не приду при мысли, что я замужем, еще вчера я говорила, что быть не может того, чтоб я вышла замуж, и теперь вижу, какая я была навняшка-бедняжка.

Как странно все получается в жизни, какие неожиданные повороты и всякие столкновения, хитрые сплетения человеческих судеб, и каждому человеку, живущему на земле, уготована из всех этих сложных сплетений — своя сплетенная из соломы дорога. А моя дорога с самого детства вилась из сплетений моих родителей совсем в другую сторону, потому-то в своем патриархальном семействе, в своем мещанском уюте я была чужеродной веточкой, в грусти и в печали, а в семье говорили так про меня: лучше уж камень родился бы, чем такая. А как хотели мои милые родственники приобщить меня к своему татарскому патриархату, что просто смешно вспомнить; иногда я подавала им надежды, и тогда мои родственники строили планы о моем замужестве на каком-нибудь краснорожем татарине, но тут их дочь нежданно-негаданно для всех них, с неожиданной стороны совершила переворот в семье, разрушила татарский патриархат, ушла из дома, вышла замуж за безбожника, за «каторжника» и уехала с ним в Сибирь. «Что скажут теперь родственники!» — вскидывали руки в великом гневе мои родители, проклял меня мой отец, а мать затаила против меня недоговоренную обиду, сокрушенно качая татарской головой. И сейчас вспоминаю свою трогательную мать, меня всегда трогала ее божественная терпеливость, как она терпела измывательства отца моего — и ведь не любя-то она и жила с ним всю жизнь, ее выдали замуж за немилого, так и притерпелась с ним.

Здесь, в сибирской деревне, в дырявой избе, стоишь иногда у морозного окна, разглядываешь узоры на стекле и думаешь, как все неожиданно в жизни, и все-таки это не просто так, и припоминаю смутно мои сны: всё дороги и дороги и какие-то города, и в реальности я мысленно готовила себя к дороге, далеко от родителей. Я смутно предчувствовала еще раньше, до знакомства с Андреем, что что-то новое произойдет в моей жизни; жила я так в грусти и в печали, как с севера подули ветры и принесли духа, и он унес меня за большие реки, к большой тайге и к маленькой деревушке, что едва выходит из земли, и он отнял у меня сердце и сделал меня своей женой.

Так мы и живем здесь — в заботе, в работе, в радости. Андрей теперь чистит базу, с десяти утра до четырех часов. А у меня тоже есть работа — и не малая: надо вставать раньше его, топить печь и готовить завтрак, а блюда у нас такие: на завтрак — толченая картошка, на обед — жареная картошка, на ужин — картошка просто вареная, дают нам один литр молока в день, и мы что хотим, то и делаем с этим молоком, лук иногда дают нам по доброте местные жители. Хожу по воду, очень далеко ходить, метров триста, научилась в здешних условиях стирать; интересно то, что в моем детстве представление о деревне ассоциировалось с полосканьем в проруби белья бабами, так сейчас эта ассоциация подтвердилась. Здесь трудностью представляется лишь стирка белья и полосканье, особенно в морозы.

Поздравь меня с тем, что я стала работать, и довольно-таки продуктивно, вот например, я сделала два очень хороших портрета: один Андрюши, другой — автопортрет на фоне морозного окна. Андрею очень нравится его портрет, он все никак не насмотрится и очень меня хвалит, говорит, что эта утонченность и удлиненность портрета в стиле Эль Греко. Ну до чего же он льстец, и этим он нравится, пожалуй, больше всего женщинам, да он лестью своей растопит всю Сибирь, и потекут нежданно весенние ручейки, зацветут цветочки, и мнимая весна у двери приступит и будет расточать похвалу Андрюше, а его милые коровы с большими сиськами, которым он

отдает больше предпочтения, чем моим, всем стадом придут пастись у нас во дворике.

Частенько по вечерам заходят к нам поболтать пьяные мужики и бабы, напьются браги, пьют здесь литрами, делать больше нечего — вот и идут к нам поглазеть на нас. Интересно уж очень получается у них, когда они заходят на порог, встанут как вкопанные, тупо вытаращат глаза свои красные, почешут затылки, а уж потом сядут на порог и медленно развязывают языки, мат через каждое слово, они сами не замечают этого, а нам смешно про себя делается. Смотрят на мою живопись и хвалят, только вот никак не поймут, что это живопись, а не фотография, они и слова-то такого не знают — «живопись». Они мне заказывают сделать «портрет», но мы ставим им условие, что они должны за это пять рублей и на пять рублей мяса, но они что-то медлят, а хотелось бы заработать на мясо и сахар. Пока приходится перебиваться.

В этой деревне очень мало мужиков, а детей в каждой избе полная куча, и все разные, не похожие друг на друга. Жители живут очень давно, приехали из одной ямы в другую, из Белоруссии в Западную Сибирь. Мужиков побило на войне, а часть пораз'ехалась, вот и выходят бабы за ссыльных. Те поживут свой срок, работая в колхозе, а живя в тепле, да с бабой, да со свиным салом, чем плохо, брага у них вместо чая, самогон также хлебнут, как щей кислых, понаделают детей кучу, а потом и уедут кто куда. А при Сталине что было, здешних баб потрошили будь здрав и невредим, как говорит наш друг художник Вейсберг. Ссыльных понаслали сюда, а с жителей брали еще уйму налогов, так что очень плохо жилось женщинам, дети от разных отцов, и потому безотцовщина. Но они к этому привыкли, как кто приедет к ним из ссыльных, так и заманивают к себе жить, с мужиком-то легче, хозяйство большое, дрова надо заготовлять на зиму, да и веселее, сподручнее жить. И вот посмотришь, какой-нибудь совсем молодой парень живет со старухой, а что ему надо — мяса да браги, да теплый кров над головой, а со старухой как-нибудь разберется по пьянке. Сейчас в

этой деревне четверо ссыльных, не считая Андрюшу, и все пристроились таким образом у старух, придут иногда к нам и начинают матом каждый про свою старуху, она такая-рассякая, не дала мне выпить, спрятала самогон, пойду постращу ее. А вчера рассказывает один горький пьяница, зубами порвал ей на... все платье, бил ее кочергой, мол, давай мне выпить, если не дашь, то спалю избу на... Пришел этот горький пьяница, за пазухой свинина, он принес нам продать подешевле, на полтора рубля два килограмма, чтобы скорее выпить. Мы, конечно, внутренне радуясь, а внешне сохраняя непроницаемость, приняли свинину, под его строгим наказом, не говорить его старухе, а нам того и надо, ведь мы, в сущности говоря, почти от самой Москвы не ели мяса. А бабы приходят, в свою очередь ругают своих мужиков-пьяниц, а сами не отстают от них по этой части.

Наш брак мы еще не оформили, но ездили за этим в районный центр за восемнадцать километров. Поехали мы туда в середине дня и потому опоздали, и нам пришлось повернуть коня обратно к дому, снова дорога — в темноту. Возвращались мы медленно, впереди еще две деревни, а мороз трескучий, холодно. Так мы ехали неторопливой рысцой прямо в ночь, погоняя свою уставшую Сикуху прочь, а кругом тайга, немного жутковато, деревья своими темными ветвями напоминали лапы чудищ, и эта морозная звенящая тишь. Мне странно и дивно казалось, и чудно мне, что купол небесный рассыпается в звездах, звезды здесь такие большие и яркие, что в этих звездах забываешь какую-то тайгу, какой-то брак, несчастного Андрея, забываешь дорогу с верстами, бедную Сикуху и становишься частью всех этих необъятных звезд и присоединяешься к хору космического напева. Когда сейчас пишу это, думаю про себя: я, как Сонька, сестра моя блаженная, у нее тоже всё звезды, звезды... Но когда мы, наконец, доплелись до нашей избушки на курьих ножках, мне пришлось сняться с звездного купола и войти в нашу избушку родную и продолжать нашу жизнь во грехе, пока не найдем удобное время для новой поездки в Кривошеино. Так окончилось наше поэтическое путешест-

вие с верстами, на «лихом коне», с звездным космическим напевом и пронзительным матом, которым Андрюша оглашал тайгу и звенящую тишь, рассекая морозный воздух плетной, секя отчаянно нашу уставшую Сикуху.

Живем мы во грехе больше месяца, а еще вторично не ездили туда, хотя в деревне нашей уже давно поговаривают, что я не «законная» жена ему и что живу здесь значительный срок, а еще не прописана. Может, на днях поедем, когда пришлют валенки из дома, мои-то совсем развалились: когда ходишь по воду, они успевают промокнуть, в пятке дырка. Меня вовсе не смущает жизнь во грехе, что хорошего в том, что я пребывала в девственности дурацкой и никому не нужной. Интересно, что сказала бы моя мама, услышав от меня такое, а отец сразу бы меня «секир башка», но всё равно. А домой в Москву мне не хочется, хотя мы терпим здесь немало лишений, ну хотя бы, например, изба вся дырявая, с щелями вокруг, а что топим мы печь, так тепла хватает не надолго и не так уж тепло. Не знаю, как придется Андрею жить, когда я уеду: придет с работы, а печь холодная, надо топить, готовить обед, и не сможет он отдохнуть, а ходить по воду это так далеко. Нет у нас сахару, кладовая опустела почти, еще есть пока, к счастью, масло растительное и пшенная крупа, да и то скоро кончатся, и неизвестно, привезут ли для одного него продукты, ведь остальные ссыльные пристроились недурно, временно женившись на старухах. Пока мы без сахару обходимся, нам сладко и без сахару, а вдруг наша любовь остынет, тогда наша печка не разогреет наши сердца, а недостающий сахар уже сделает свое дело, и станем мы худосочными телами-трупами.

Пришло письмо твое, твое письмо очень встревожило нас своей сумбурностью, пропал медведь, что ужасно огорчило Андрюшу, болеешь сама и собираешься лечь в больницу — с сердцем, да? Вот наказание-то какое. В общем, всеми этими делами Андрюша весьма огорчен. Ты хоть сама поберегла бы себя от болезней, родная, милая моя, как тяжко приходится тебе со своим сердцем и горлом, и дети.

Ну, выздоравливай скорее и береги себя, чтобы быть привлекательной. Целую тебя, наша близкая и милая по духу.

Твоя Гюзель

25 ноября 1965, Гурьевка.

## ОГЛАВЛЕНИЕ


PRINTED IN BELGIUM
ROSSEELS PRINTING C°
VAARTSTRAAT 70-72 & 82
B-3000 LOUVAIN-BELGIUM